

THE MYTHS OF LIBERAL ZIONISM

YITZHAK LAOR



VERSO

London • New York

МИФЫ О либеральном сионизме

ИЦХАК ЛАОР



This paperback edition published by Verso 2017
English edition first published by Verso 2009
© Yitzhak Laor 2009, 2017
First published as
Le nouveau philosémitisme européen et le "camp de la paix" en Israël
© La Fabrique 2007

All rights reserved

The moral rights of the author have been asserted 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

Verso

UK: 6 Meard Street, London W1F 0EG
US: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY 11201
versobooks.com

Verso is the imprint of New Left Books ISBN-13: 978-1-78478-628-1 (PB)

ISBN-13: 978-1-78478-629-8 (UK EBK)

ISBN-13: 978-1-78478-630-4 (US EBK) **British Library Cataloguing in
Publication Data**

A catalogue record for this book is available from the British Library **Library of
Congress Cataloging-in-Publication Data**

A catalog record for this book is available from the Library of Congress Typeset by
Hewer Text UK Ltd, Edinburgh
Printed in the US by Maple Press

Данное издание в мягкой обложке опубликовано издательством Verso в 2017 году.

Английское издание впервые было опубликовано издательством Verso в 2009 году.

© Ицхак Лаор 2009, 2017

Впервые опубликовано как

Новый европейский философизм и «лагерь мира» в Израиле

© La Fabrique 2007

Все права защищены

Моральные права автора были подтверждены 1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

оборотная сторона

Великобритания: 6 Meard Street, London W1F 0EG

США: 20 Jay Street, Suite 1010, Brooklyn, NY 11201

versobooks.com

Verso — это издательство New Left Books. ISBN-13: 978-1-78478-628-1 (мягкая обложка).

ISBN-13: 978-1-78478-629-8 (EBK Великобритании)

ISBN-13: 978-1-78478-630-4 (EBK США) **Каталогизация Британской библиотеки в**

Данные публикации

Каталожная запись этой книги доступна в Британской библиотеке. **Библиотека**

Данные каталогизации Конгресса в публикациях

Каталожная запись этой книги доступна в Библиотеке Конгресса. Набор текста выполнен:

Hewer Text UK Ltd, Эдинбург. Напечатано
в США компанией Maple Press.

CONTENTS

Foreword by José Saramago

Preface to the English-Language Edition

Introduction

- 1 The Shoah Belongs to Us (Us, the Non-Muslims)
- 2 The Right of Return (of the Colonial): On the Role of the “Peace Camp” and its French Sponsors
- 3 It Takes a Lot of Darkness and Self-Love to merge “Us” with “You”: Amos Oz’s *A Tale of Love and Darkness*
- 4 “I Don’t Even Want to Know Their Names”—On Hatred for the East: A. B. Yehoshua, and the Shame of Being Sephardi
- 5 In Lieu of a Conclusion: A Banished Thought from the East about a Polish Saltfish

Notes

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие Хосе Сарамаго.

Введение к англоязычному изданию.

- 1 Холокост принадлежит нам (нам, немусульманам).
- 2 Право на возвращение (колониального периода): о роли «лагеря мира» и его французских спонсоров.
- 3 Чтобы слиться «мы» с «вами» — требуется много тьмы и любви к себе: Амос Оз
История любви и тьмы
- 4 «Я даже не хочу знать их имена» — О ненависти к Востоку: А. Б. Йехошуа и стыд быть сефардом.
- 5 Вместо заключения: Изгнанная с Востока мысль о польской соленой рыбе

FOREWORD BY JOSÉ SARAMAGO

The importance of the analyses contained in this book can be measured against its principal objective: to disentangle an intricate ball of twine, revealing how deep contradictions within Israeli society are and how the great majority of the population seems to have decided to support the most daring positions of its government with regard to the treatment meted out to the Palestinians. This is treatment characterized, as we all know, by a contempt and an intolerance which, on a practical level, have led to the extreme of denying any degree of humanity to the Palestinian people, at times even denying their basic right to existence. When Yitzhak Laor wrote *The Myths of Liberal Zionism*,¹ it was almost impossible to foresee the day when the president of the United States would come to insist on the withdrawal of the settlements (over 200 settlements ranging from the “legal ones,” meaning those authorized and built according to the will of the government in Tel Aviv, and the “illegal ones,” those to which the government turns a blind eye, inhabited, all told, by over half a million residents whose presence is the major obstacle to peace today), not to mention the recognition of the elementary right of the Palestinians to their own independent and viable state. This was something already noted by George Bush Sr, when he forced Israel to recognize that talking at one and the same time about peace and about the settlements was an irrational and inherent contradiction. Former Prime Minister Ehud Olmert seems to have been aware of this when he declared to *Haaretz*, in November 2007, that if a speedy solution and a division into the two states were not rapidly arrived at “the state of Israel would be finished.” He didn’t go so far as to do anything to achieve the resolution of this problem, but his words at least still resonate. They help us to comprehend how the settlers were always the sword of Damocles, suspended over the Israeli governments, and now more than ever, over the head of Binyamin Netanyahu.

José Saramago
2009

ПРЕДИСЛОВИЕ

ХОСЕ САРАМАГО

Важность анализа, содержащегося в этой книге, можно оценить по ее главной цели: распутать сложный клубок нитей, выявив глубину противоречий внутри израильского общества и то, как подавляющее большинство населения, похоже, решило поддержать самые смелые позиции своего правительства в отношении обращения с палестинцами. Это обращение, как мы все знаем, характеризуется презрением и нетерпимостью, которые на практике привели к крайней степени отрицания гуманности по отношению к палестинскому народу, а порой даже к отрицанию его основного права на существование. Когда Ицхак Лаор писал...

*Мифы либерального сионизма,*¹ Было практически невозможно предвидеть тот день, когда президент Соединенных Штатов начнет настаивать на выводе поселений (более 200 поселений, от «законных», то есть тех, которые были санкционированы и построены по воле правительства Тель-Авива, до «незаконных», на которые правительство закрывает глаза, в общей сложности более полумиллиона жителей, чье присутствие является сегодня главным препятствием для мира), не говоря уже о признании элементарного права палестинцев на собственное независимое и жизнеспособное государство. Это уже отмечал Джордж Буш-старший, когда заставил Израиль признать, что разговоры одновременно о

Вопрос мира и поселений представлял собой иррациональное и внутреннее противоречие. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт, похоже, осознавал это, когда делал заявление. *Хаарец* В ноябре 2007 года он заявил, что если быстро не будет найдено решение и не произойдет разделение на два государства, «государству Израиль придет конец». Он не предпринял никаких действий для решения этой проблемы, но его слова, по крайней мере, до сих пор звучат актуально. Они помогают нам понять, как поселенцы всегда были дамокловым мечом, висящим над израильским правительством, а теперь, как никогда прежде, над головой Биньямина Нетаньяху.

Хосе Сарамато
2009

PREFACE TO THE ENGLISH-LANGUAGE EDITION

I once visited the United States shortly after an incident in which a college student had opened fire and killed several of his fellow students on the campus of Virginia Tech. The taxi driver who took me from JFK Airport to Washington Square in New York heard I was from Israel, and therefore excitedly told me about the Israeli professor who protected his students and was shot to death. He survived the Nazi concentration camps to die here as a hero, the driver told me. I was truly impressed by this historicization, and when I spoke to my wife on the phone later that day I told her about it. She said she had heard the same description on CNN, and, indeed, I later heard the same story from President Bush, or his speech writers, on TV.

I think I know how to write about our present time and place to people who live alongside me, who use the same language, even though I belong to a political minority. I am more skeptical about my ability to talk about this time and place to outsiders. Not just because our history long ago turned into a collection of soundbites, or because it is very easy for a Hebrew writer to tell his parents' life story as a kind of illustration of the dramatic history of his people in the first half of the twentieth century, or to tell my own life story as an illustration of the dramatic history of the country I have lived in over

ПРЕДИСЛОВИЕ К АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ИЗДАНИЮ

Однажды я посетил Соединенные Штаты вскоре после инцидента, когда студент колледжа открыл огонь и убил нескольких своих однокурсников в кампусе Вирджинского политехнического университета. Таксист, который вез меня из аэропорта имени Джона Кеннеди на Вашингтон-сквер в Нью-Йорке, услышал, что я из Израиля, и поэтому с восторгом рассказал мне об израильском профессоре, который защищал своих студентов и был застрелен. Он пережил нацистские концлагеря и умер здесь как герой, сказал мне водитель. Меня действительно впечатлило это историческое повествование, и когда я позже в тот же день разговаривал по телефону с женой, я рассказал ей об этом. Она сказала, что слышала такое же описание по CNN, и, действительно, позже я услышал ту же историю от президента Буша или его спичрайтеров по телевидению.

Думаю, я умею писать о нашем времени и месте людям, которые живут рядом со мной, которые говорят на том же языке, даже несмотря на то, что я принадлежу к политическому меньшинству. Я гораздо больше сомневаюсь в своей способности говорить об этом времени и месте с посторонними. Не только потому, что наша история давно превратилась в набор коротких фраз, или потому, что еврейскому писателю очень легко рассказать историю жизни своих родителей как иллюстрацию драматической истории своего народа в первой половине XX века, или рассказать свою собственную историю жизни как иллюстрацию драматической истории страны, в которой я жил на протяжении многих лет.

the second half of the twentieth century. I am skeptical of my ability because I find it extremely hard to try to sharpen my questions, mainly questions about the nature of the current historical moment in Israel, the place where I was born and will probably die. Twenty years ago I wrote a poem in which I tried to explain Israeli aggressiveness thus:

We didn't grow up where our fathers grew up.
They didn't grow up where
Their fathers did. We learnt not to
Feel nostalgic (we can feel nostalgic for any tombstone
Decided upon), we don't belong any
Where (we shall belong easily to anything
When demanded), we move across
Countries, we sleep in fancy
Hotels, we sleep in cold
Barns, we love only in order to be
Loved, we rape only
To be remembered, we enjoy
Only so as to register ownership, destroying
Mainly villages, declaring ownership
And leaving, hating peasants, mainly
Peasants (if necessary, we'll also cultivate
The land).¹

I didn't content myself with writing poetry, because I thought that through it I could not capture all this history which so occupies me: "We didn't grow up where our fathers grew up. They didn't grow up where their fathers did."

What in this eternal foreignness to the landscape that one's father loved in his childhood, or that one's father's father loved in his childhood, what in this foreignness is relevant to our patriotism (always abstract) and what is not? I am not sure that I have good answers. And yet I am trying to ask questions about the ability to write beyond images, beyond the simple images that the TV news chatters about.

вторая половина двадцатого века. Я скептически отношусь к своим способностям, потому что мне крайне трудно сформулировать свои вопросы, главным образом вопросы о природе нынешнего исторического момента в Израиле, месте, где я родился и, вероятно, умру. Двадцать лет назад я написал стихотворение, в котором попытался объяснить израильскую агрессивность следующим образом:

Мы выросли не там, где выросли наши отцы. Они выросли
не там, где выросли наши отцы.

Так поступали их отцы. Мы же научились этого не делать.

Испытываем ностальгию (мы можем испытывать ностальгию по любому надгробному
камню, который мы выбрали), мы ни к кому не принадлежим

Там, где (мы легко будем принадлежать чему угодно, когда
нас об этом попросят), мы перемещаемся между странами,
мы спим в мире фантазий.

Мы спим в отелях, в холодных амбарах, мы
любим только для того, чтобы нас любили, мы
насилуем только

Чтобы нас запомнили, мы наслаждаемся

Только для того, чтобы зарегистрировать право собственности, разрушая в
основном деревни и заявляя о своем праве собственности.

И уходя, ненавидя крестьян, в основном крестьян (при
необходимости мы также будем заниматься земледелием

Землей).¹

Я не ограничивался написанием стихов, потому что считал, что с их помощью не смогу запечатлеть всю эту историю, которая так меня занимает: «Мы выросли не там, где выросли наши отцы. Они выросли не там, где выросли их отцы».

Что в этой вечной чуждости пейзажу, который отец любил в детстве, или который дед отца любил в детстве, что в этой чуждости имеет отношение к нашему патриотизму (всегда абстрактному), а что нет? Я не уверен, что у меня есть хорошие ответы. И все же я пытаюсь задавать вопросы о способности писать за пределами образов, за пределами простых образов, о которых болтают в новостях по телевизору.

There is something about our Israeli lives, about how we perceive ourselves and how we perceive others' perception of us, that is entirely connected to the European origins of our concept of nationality, democracy and political structure.

Even though our Israeli lives are very dependent on the United States of America, the fact is that when we, in the heart of the Middle East, talk to our metropolis, yearn for its love, ask for its moral support and recognition of our cultural values, we are not really talking to the United States, maybe because we take its love for granted—hence we do not make any real efforts to desire its desire—but maybe we simply do not really understand or know it. And though “understanding the US” is almost a profession in Israeli journalism, and though we are very up to date with most US TV drama series, soap operas and sitcoms, even we understand that the United States is not just what we see on TV, or in Hollywood movies, or via the politicians who visit us on their way to the White House.

Perhaps the United States does not really understand us either, if it is even possible to talk of the United States in the singular, as a single entity that can or cannot understand something. It is clear that the easiest story to tell is the kitsch one, like the description of the cab driver who took me from JFK to Washington Square, but I started by explaining how difficult I find it to write for Americans in order to suggest that we should begin from those places where we can see eye to eye, and peer into a new dimension.

I do not want to talk about the differences between the United States and Israel. Seemingly, nothing is easier. Take, for example, the cornerstone of American democracy and its pride and glory, the Constitution, and compare it to Israeli ethnocracy, which refuses, precisely because it is an ethnocracy, to bind itself to the Law, to a constitution that would guarantee equality before the law to all the nation's citizens (and even the word “nation” doesn't work here, for the Israeli Hebrew word for “nation”—*umma*—refers exclusively to Jews). If one takes just that example, there is seemingly no need to explain further differences.

But that is too easy. After all, Americans, even the most extreme pro-Israel individuals among them, value their Constitution above all

В нашей израильской жизни, в том, как мы воспринимаем себя и как другие воспринимают нас, есть нечто, что неразрывно связано с европейскими истоками нашей концепции национальности, демократии и политической структуры.

Несмотря на то, что наша жизнь в Израиле во многом зависит от Соединенных Штатов Америки, факт остается фактом: когда мы, находясь в самом сердце Ближнего Востока, обращаемся к нашей метрополии, жаждем ее любви, просим моральной поддержки и признания наших культурных ценностей, мы на самом деле не обращаемся к Соединенным Штатам, возможно, потому что принимаем их любовь как должное — и поэтому не прилагаем реальных усилий, чтобы заслужить их любовь. — но, возможно, мы просто не до конца понимаем или не знаем этого. И хотя «понимание США» стало почти профессией в израильской журналистике, и хотя мы очень хорошо знакомы с большинством американских телесериалов, мыльных опер и ситкомов, даже мы понимаем, что Соединенные Штаты — это не только то, что мы видим по телевизору, в голливудских фильмах или через политиков, которые посещают нас по пути в Белый дом.

Возможно, Соединенные Штаты тоже нас не совсем понимают, если вообще можно говорить о Соединенных Штатах в единственном числе, как о едином целом, способном или неспособном что-то понять. Очевидно, что проще всего рассказать банальную историю, например, историю о таксисте, который вез меня от аэропорта имени Кеннеди до Вашингтонской площади, но я начал с объяснения того, как трудно мне писать для американцев, чтобы предложить начать с тех мест, где мы можем видеть точки соприкосновения, и заглянуть в новое измерение.

Я не хочу говорить о различиях между Соединенными Штатами и Израилем. Кажется, здесь нет ничего проще. Возьмем, к примеру, краеугольный камень американской демократии, ее гордость и славу, Конституцию, и сравним ее с израильской этнократией, которая отказывается, именно потому, что она этнократия, связывать себя Законом, Конституцией, которая гарантировала бы равенство перед законом всем гражданам страны (и даже слово «нация» здесь не подходит, поскольку израильское ивритское слово, обозначающее «нацию»...). *умма* — относится исключительно к евреям). Если взять только этот пример, то, по-видимому, нет необходимости объяснять дальнейшие различия.

Но это слишком просто. В конце концов, американцы, даже самые ярые сторонники Израиля, ценят свою Конституцию превыше всего.

else; yet they know too that Israel does not have a constitution and nevertheless identify “us” with “you,” over and over again. Therefore, I prefer to start with an image familiar to all of us, a Hollywood image, that of the American male soldier, mainly in World War Two but also later on, in the other great wars that the United States produced, first in the world and then in the movies: Korea, Vietnam, Iraq. What always surprised me, and I am not sure if you have noticed it, because it might be part of what constitutes the obvious for you, is the mature, adult appearance of the onscreen American soldier, not to mention the commanders, officers, generals. By contrast, in our fledgling movie industry, Israeli soldiers are always depicted as young boys, almost adolescent in appearance.

There is thus a difference between Israeli military men as they are depicted in our cultural imaginary and those American military men depicted by Hollywood. Either the Americans are supposed to be the same age as the Israeli soldiers but look older because of cinematic conventions or narrative devices, or they simply are older because they were imagined as older. Both options serve my purpose just as well.

Think of William Wyler’s heroes in *The Best Years of Our Life* (1947), or Billy Wilder’s heroes in *Stalag 17* (1953), or David Lean’s *The Bridge over the River Kwai* (1957) and even films from the 1970s such as *Patton* or *Apocalypse Now*, or the 1980s’ *Platoon* etc. Why do these young American men look so much older than Israeli soldiers do in our small film industry? I think they answer to different demands. American cinema is supposed to fill its viewers with national pride, confidence in American courage, determination and virtue (with few exceptions, of course). These soldiers or officers or generals, mostly white, transmit virility, self-confidence, doggedness. We can trust them. We *should* trust them. With such defenders looking after us, we peacefully have a good time in the movie theaters. Even if the films are critical, the heroes are still to be desired as men, trusted as men.

I am not sure whether you are familiar with Israeli war films. The best example would be the 2007 Oscar nominee for best foreign-language movie *Beaufort*, where the soldiers are barely men, almost more like pubescent boys. This is true not only in the cinema, but in

В противном случае, они также знают, что у Израиля нет конституции, и тем не менее снова и снова отождествляют «нас» с «вами». Поэтому я предпочитаю начать с образа, знакомого всем нам, голливудского образа американского солдата, главным образом во Второй мировой войне, но также и позже, в других крупных войнах, которые Соединенные Штаты развязали сначала в мире, а затем и в кино: Корея, Вьетнам, Ирак. Что всегда удивляло меня, и я не уверен, замечали ли вы это, потому что это может быть частью того, что для вас является очевидным, так это зрелый, взрослый вид американского солдата на экране, не говоря уже о командирах, офицерах, генералах. В отличие от этого, в нашей молодой киноиндустрии израильские солдаты всегда изображаются как молодые мальчики, почти подростки по внешности.

Таким образом, существует разница между израильскими военнослужащими, какими они изображены в нашем культурном представлении, и американскими военнослужащими, какими их изображает Голливуд. Либо американцы должны быть того же возраста, что и израильские солдаты, но выглядят старше из-за кинематографических условностей или сюжетных приемов, либо они просто старше, потому что их так представили. Оба варианта одинаково хорошо подходят для моих целей.

Вспомните героев Уильяма Уайлера в *Лучшие годы нашей жизни* (1947), или герои Билли Уайлдера в *Шталаг 17* (1953 г.), или Дэвида Лина *Мост через реку Квай* (1957) и даже фильмы 1970-х годов, такие как *Паттон* или *Апокалипсис сегодня* или 1980-х годов *Взвод* и т. д. Почему эти молодые американцы в нашей небольшой киноиндустрии выглядят намного старше израильских солдат? Думаю, они отвечают разным требованиям. Американское кино призвано вселять в зрителей национальную гордость, уверенность в американскую храбрость, решительность и добродетель (с редкими исключениями, конечно). Эти солдаты, офицеры или генералы, в основном белые, излучают мужественность, уверенность в себе, упорство. Мы можем им доверять. Мы *должны* довериться им. С такими защитниками, оберегающими нас, мы спокойно и с удовольствием проводим время в кинотеатрах. Даже если фильмы вызывают критику, герои все равно достойны уважения как мужчины, им можно доверять как мужчинам.

Я не уверен, знакомы ли вы с израильскими военными фильмами. Лучшим примером может служить фильм 2007 года, номинированный на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». *Богородица* где солдаты едва ли мужчины, скорее похожи на подростков. Это верно не только в кино, но и в

our culture as a whole.² This depiction of the soldier as a shy, naïve, almost confused young boy is a recurring, deliberate theme, just as it is no coincidence that the war is always described as a siege that besets us.

These depictions are not limited to popular culture. Take S. Yizhar's beautiful boys, especially in his thousand-page novel *Days of Ziklag* (1958) about the 1948 war, or Moshe Shamir's heroes in *He Walked through the Fields* (1947), or Shamir's *Alik's Story* (1951). The soldiers are always boyish, not quite yet men, not only in their facial or corporeal representation, but also through the depiction of their inner world, their adolescent emotional problems with Mom and Dad and with their friends, and especially their concerns over how they will appear to the other members in one of the collectives they always belong to. Some have girlfriends, yet even in contemporary novels their pure and asexual lives remain unchanged by events, despite the changing attitudes and growing permissiveness of Israeli society over the years.

If I return for a moment to the American male soldier as my point of departure and comparison, I might say that Israeli heroes ask for a different kind of adoration, love and warmth. They arouse, they are supposed to arouse, a desire to protect them, to defend them, hence they are almost always vulnerable. They ask for parental love from the reader and/or viewer, motherly love.

This structure—I would say a solicitation to defend our little soldier boy—has been prevalent in Israeli culture for more than the past sixty years. Within our national fantasy, even though our soldiers protect us, even though in the daily rhetoric they defend us, promise us a safe life, when we read or watch them in fantasy, they are the ones asking for our protection, in return for their sacrifice. The soldier is always portrayed as a son, always in relation to a father or a mother or both, hence his vulnerability, and if you wish—his hagiography.

This is my first proposal for reading our culture from without, using your own culture of images. Is *our* image, as a whole, within American political discourse, that of a vulnerable child? I do not know. Does Israel present itself, in its own propaganda, as a vulnerable child? Absolutely. The most outrageous example so far is

наша культура в целом.²Изображение солдата как застенчивого, наивного, почти растерянного юноши — это повторяющаяся, намеренная тема, так же как и то, что война всегда описывается как осада, которая нас окружает.

Эти изображения не ограничиваются массовой культурой. Возьмем, к примеру, прекрасных юношей С. Ицхара, особенно в его тысячестраничном романе *Дни Циклага* (1958) о войне 1948 года, или о героях Моше Шамира в *Он шел по полям* (1947 г.), или Шамира *История Алика* (1951). Солдаты всегда выглядят по-мальчишески, еще не совсем мужчинами, не только в изображении их лиц или тела, но и в описании их внутреннего мира, подростковых эмоциональных проблем с мамой и папой, с друзьями, и особенно их беспокойства о том, как они будут выглядеть в глазах других членов коллективов, к которым они всегда принадлежали. У некоторых есть подруги, но даже в современных романах их чистая и асексуальная жизнь остается неизменной, несмотря на меняющиеся взгляды и растущую вседозволенность израильского общества за прошедшие годы.

Если я на мгновение вернусь к американскому солдату-мужчине как к отправной точке и для сравнения, я бы сказал, что израильские герои требуют иного рода обожания, любви и тепла. Они пробуждают, они должны пробуждать, желание защитить их, оберегать их, поэтому они почти всегда уязвимы. Они просят от читателя и/или зрителя родительской любви, материнской любви.

Эта структура — я бы сказал, призыв защитить нашего маленького солдатика — распространена в израильской культуре уже более шестидесяти лет. В наших национальных фантазиях, даже несмотря на то, что наши солдаты защищают нас, даже несмотря на то, что в повседневной риторике они защищают нас, обещают нам безопасную жизнь, когда мы читаем или видим их в фантазиях, именно они просят нашей защиты в обмен на свою жертву. Солдат всегда изображается как сын, всегда в отношениях с отцом или матерью, или с обоими, отсюда его уязвимость, и, если хотите, его агиография.

Это моё первое предложение по изучению нашей культуры извне, используя образы вашей собственной культуры. *наш* В американском политическом дискурсе в целом сложилось представление об уязвимом ребенке? Я не знаю. Представляет ли Израиль в своей собственной пропаганде себя как уязвимого ребенка? Безусловно. Самый вопиющий пример на данный момент — это...

a column by a supposed soldier published in a special section (“Appeal to the World”) of *Yediot Ahronont*, the most popular newspaper in Israel.

As Israeli-born and grandson to a Holocaust survivor I am proud to be a soldier in such a moral army. Sitting in a shelter, next to children and elderly people, I call to the citizens of the world: Wake up! If we put up with it, your children will be the next.

Would you guess this was published on January 9, 2009, in the midst of the fire and brimstone Israel was raining on Gaza? Yet the soldier, as a good grandson, is extremely important if we are to understand the Israeli manipulative narrative: we are the grandchildren that the United States and American Jews are often being called on to feel sorry for.

It is no coincidence that the most prevalent myth in modern Hebrew literature—not only in anti-war political literature, but also in the most Zionist of texts—is a Biblical story, the ancient Hebrew Oedipal myth of “the binding of Isaac,” which begins (at Genesis 22:2) with the horrible command: “And he said, take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.”

I can think of a famous drama, Yigal Mossinsohn’s *In the Negev Prairies*, that was already being staged during the last phase of the 1948 war, in which the father, Avraham (Abraham), the leader of the besieged kibbutz which is surrounded by the Egyptian army, asks his son to do the impossible, to go out and break through the enemy lines. The father cannot face his own son, so he tells someone else to tell him to go, saying (and I don’t even need to look this up, for it has been inscribed in my memory ever since I saw the play on stage some time during my childhood): “Don’t tell him Dad orders, tell him Dad is begging.” The son dies on this mission.

The extent to which the 1948 war really was a war of the besieged few against the many is a question still debated by historians, but its myth as such remains predominant to this day. And

Колонка, написанная предполагаемым солдатом и опубликованная в специальном разделе («Обращение к миру») газеты *Йедиот Арононт* Самая популярная газета в Израиле.

Как уроженец Израиля и внук пережившего Холокост, я горжусь тем, что являюсь солдатом в такой морально ответственной армии. Сидя в убежище, рядом с детьми и стариками, я призываю граждан всего мира: Проснитесь! Если мы будем это терпеть, ваши дети станут следующими жертвами.

Вы бы догадались, что это было опубликовано 9 января 2009 года, в разгар израильских обрушивающихся на Газу огненных и серных ругательств? И все же солдат, как хороший внук, чрезвычайно важен, если мы хотим понять манипулятивный нарратив Израиля: мы — внуки, которых Соединенные Штаты и американские евреи часто должны жалеть.

Неслучайно наиболее распространенный миф в современной еврейской литературе — не только в антивоенной политической литературе, но и в самых сионистских текстах — это библейская история, древнееврейский эдипов миф о «жертвоприношении Исаака», который начинается (в Бытие 22:2) с ужасающего повеления: «И сказал Он: возьми сына твоего, единственного сына твоего Исаака, которого ты любишь, и пойди в землю Мория, и принеси его там во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе».

Мне на ум приходит известная драма Игаля Моссинсона. *В прериях Негева* Эта пьеса, которая ставилась ещё на заключительном этапе войны 1948 года, рассказывает о том, как отец, Авраам, вождь осаждённого кибуца, окружённого египетской армией, просит сына совершить невозможное — выйти и прорвать вражеские линии. Отец не может смотреть в глаза собственному сыну, поэтому он просит кого-то другого передать ему приказ, говоря (и мне даже не нужно искать это, потому что это запечатлелось в моей памяти с тех пор, как я увидел эту пьесу на сцене в детстве): «Не говори ему, что отец приказывает, скажи ему, что отец просит милостыню». Сын погибает, выполняя этот приказ.

Вопрос о том, в какой степени война 1948 года действительно была войной осажденных немногих против многих, до сих пор обсуждается историками, но миф о ней как о войне остается преобладающим и по сей день.

more important for our argument: It is always the son who sacrifices his life for the father. The father remains ambiguous, a sort of victimizing victim.

In 1970 the great playwright Hanoach Levin, in his scandalous satirical review *A Queen of the Bath*, depicted Abraham with his knife raised, standing over his bound son and ready to slaughter him, shouting out at the climactic moment: "I was born to be a victim. I am a victim."³ That is what the murderous father says to his tied-up son. However, that particular satire did not change the terms of the discourse. We now have sons who became fathers, and generals who send the soldiers to kill and to die with the same rhetoric of 1948. Politics is a constant crisis in Israel, hence ideology works overtime.

Contrary to what most non-Jews, as well as many secular Jews, assume, the Bible does not play a very prominent role in Jewish liturgy (with the exception of the Book of Psalms). And yet, every day, every Jew who recites the morning prayer reads, after the morning blessings and before putting on his *teffilin* (phylacteries), the story of the binding of Isaac. And if that is not enough, let me also note that the Jewish New Year, Rosh Hashanah, is marked by a two-day holiday, during which one is required to spend many hours praying at synagogue. During these days too, the space given to the Biblical texts is relatively limited. And yet, every year, on the second day of Rosh Hashanah, we read the story of the binding. And what is read on the holiday's first day? The story of Abraham's banishing of his Egyptian handmaid and their son, Ishmael, abandoning them to die of thirst in the desert. In both cases, the common religious denominator, the father, Abraham, is not a strong man, and he dares to commit the most horrible act—to give up his sons. And in both cases there is something bigger and more merciful than him: God. It is the merciful God who saves the boys who have been condemned to die.

So long as there was a God in heaven, one could expect his mercy, and therefore the father could allow himself to be less strong than expected of a father, any father, in a patriarchal culture. Our new, secular culture did not give up on the father, but only on God-as-

Что более важно для нашего аргумента: именно сын всегда жертвует своей жизнью ради отца. Отец остается неоднозначной фигурой, своего рода жертвой, делающей других жертвой.

В 1970 году великий драматург Ханох Левин в своей скандальной сатирической рецензии *Королева бани* На картине изображен Авраам с поднятым ножом, стоящий над связанным сыном и готовый его заколоть, кричащий в кульминационный момент: «Я рожден быть жертвой».

Я — жертва.³ Именно это говорит отец-убийца своему связанному сыну. Однако эта конкретная сатира не изменила контекст дискуссии. Теперь у нас есть сыновья, ставшие отцами, и генералы, посылающие солдат убивать и умирать, используя ту же риторику, что и в 1948 году. Политика в Израиле — это постоянный кризис, поэтому идеология работает на износ.

Вопреки распространенному мнению большинства неевреев, а также многих светских евреев, Библия не играет очень важной роли в еврейской литургии (за исключением Книги Псалмов). И тем не менее, каждый день каждый еврей, читающий утреннюю молитву, делает это после утренних благословений и перед тем, как надеть свою одежду. *теффилин* (филактерии), история жертвоприношения Исаака. И если этого недостаточно, позвольте мне также отметить, что еврейский Новый год, Рош ха-Шана, отмечается двухдневным праздником, в течение которого необходимо проводить много часов в молитве в синагоге. В эти дни библейским текстам тоже уделяется относительно мало внимания. И все же каждый год, на второй день Рош ха-Шана, мы читаем историю жертвоприношения. А что же читается в первый день праздника? История изгнания Авраамом своей египетской служанки и их сына Исмаила, оставив их умирать от жажды в пустыне. В обоих случаях общий религиозный знаменатель, отец, Авраам, не сильный человек, и он осмеливается совершить самый ужасный поступок — отдать своих сыновей. И в обоих случаях есть нечто большее и милосерднее его: Бог. Именно милосердный Бог спасает мальчиков, приговоренных к смерти.

Пока на небесах существовал Бог, можно было ожидать Его милосердия, и поэтому отец мог позволить себе быть менее строгим, чем ожидалось от отца, любого отца, в патриархальной культуре. Наша новая, светская культура не отказалась от отца, а лишь от Бога как такового.

father-figure. If you will, then, removing God from modern Israeli culture left it even more dependent on merciless father figures and myths of bound sons. This is the key mutation of the Zionist revival, be it religious or secular.

In that secular Israeli culture, the son—not the father—has always been the source of pride. Even when the fathers wrote the literature, and even when the sons grew up and became fathers themselves, they continued to write the myth of the vulnerable son; the son was always the source of hope, of faith, sometimes of arrogance, mainly in the wider sense of seeing the *sabra*, the Israeli-born son, as the culmination of a historical process, as if all of history had waited for two thousand years until the first boys would be born in the Holy Land, speaking a coarse Hebrew, filled with slang.

When Ehud Barak, “the most decorated soldier in the Israeli army,” stood in his Israel Defense Forces (IDF) military uniform in Auschwitz, on the fiftieth anniversary of the liberation of the death camp, and said, “If only we had got here on time” (in other words, if we, the Israelis, had saved the Jews) the scene captured well the arrogance to which I am referring.

The literary image of the *sabra* can teach us much about the ideological makeup of the new Jewish society that settled in Palestine, largely because the writers were very faithful, ideologically, to the commitment to build a “New Man.” What were the characteristics of this new *sabra*? I have already spoken of the courage and sacrifice. You are familiar with the forwardness and arrogance, known as “Israeli *chutzpah*,” which used even to be praised in America (but is indeed prefigured in the image of the Yankee, as developed in early American drama). And I have already hinted at the fact that the *sabra* is described as a victim of circumstances, or a victim of the cruelty of the generation before him, or of the cruelty of Jewish history. In short, he was expected to be cruel, yet his cruelty was forgiven “in advance” for he was the historical answer to the riddle of Jewish history. Look at the events in Gaza in 2009, read the Israeli press during the twenty-two days of massive murderous deployment of twenty-first-century hi-tech weapons, artillery and air power pouring death and destruction over

Отцовская фигура. Если хотите, то исключение Бога из современной израильской культуры сделало её ещё более зависимой от безжалостных отцовских фигур и мифов о связанных сыновьях. Это ключевая мутация сионистского возрождения, будь то религиозного или светского.

В этой светской израильской культуре сын, а не отец, всегда был источником гордости. Даже когда отцы писали литературные произведения, и даже когда сыновья выросли и сами стали отцами, они продолжали создавать миф о незащитном сыне; сын всегда был источником надежды, веры, иногда высокомерия, главным образом в более широком смысле, в понимании... *сабра*, израильский сын, как кульминация исторического процесса, словно вся история ждала две тысячи лет, пока на Святой Земле не родятся первые мальчики, говорящие на грубом иврите, полном сленга.

Когда Эхуд Барак, «самый награжденный солдат израильской армии», стоя в своей военной форме Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Освенциме в пятидесятую годовщину освобождения лагеря смерти, сказал: «Если бы только мы прибыли сюда вовремя» (иными словами, если бы мы, израильтяне, спасли евреев), эта сцена хорошо отражает ту самоуверенность, о которой я говорю.

Литературный образ *сабра* Это может многое рассказать нам об идеологической структуре нового еврейского общества, обосновавшегося в Палестине, во многом потому, что авторы были очень верны в идеологическом плане стремлению построить «нового человека». Каковы были характеристики этого нового общества? *сабра* Я уже говорил о мужестве и самопожертвовании. Вам знакомы наглость и высокомерие, известные как «израильские». *наглость*», который даже в Америке когда-то хвалили (но который, по сути, предвосхищен образом янки, разработанным в ранней американской драматургии). И я уже намекал на то, что *сабра* Его описывают как жертву обстоятельств, или жертву жестокости предыдущего поколения, или жестокости еврейской истории. Короче говоря, от него ожидали жестокости, но его жестокость была прощена «заранее», поскольку он был историческим ответом на загадку еврейской истории. Посмотрите на события в Газе в 2009 году, почитайте израильскую прессу за двадцать два дня массированного смертоносного применения высокотехнологичного оружия, артиллерии и авиации XXI века, сеющих смерть и разрушение.

the largest and most overpopulated ghetto in the world, and see how far that particular dream came true—and then became a nightmare.

Another interesting aspect is its external transformation. In Hebrew literature—contrasting with the Diaspora Jew—the Israeli-born Jew suddenly turned into a blond. As you delve into Hebrew literature of the 1940s to 1970s, you meet more blue-eyed blonds than you could meet anywhere else in Israel. Indeed, this trend was somewhat obstructed with the advance of Israeli cinema, perhaps because it was hard to find enough blue-eyed blond actors to fill all the parts.

In the key novel *He Walked through the Fields*, by Moshe Shamir, one of the magnificent youths is described thus: “If you were to tear his shirt off his back, near the shoulder, his white, delicate skin would reveal large sun spots and golden down.” Amos Oz’s writing too is filled with young men whose tans glow with a golden down. As we shall see, even his high school teacher on the kibbutz, who he claims slept with him, not only did so very tastefully, to the sound of Schubert in the background, but she too had skin flecked with golden down.

And the best example is the classic teenage book series *Hasamba*, which accompanied the childhood of virtually all Israelis up until the 1980s—the story of a bunch of Tel Aviv children who form a secret group, a children’s military unit of sorts, which fights the British, then the Arabs, and of course criminals as well. Its revered commander, a model to us all, Yaron Zehavi, was always courageous, sensitive, devoted—and very, very fair-haired. This self-representation has hardly changed in over two generations. Hundreds of thousands of Israelis read these books and learn to identify themselves as vulnerable, brave—and part of the Western fantasy that equates a certain, white, type of beauty with justice.

It is also important to remember that the blond hero’s Other usually also appears in these books. In Yizhar’s works, the “others” are ugly Jews of Middle Eastern descent, or Diaspora Jews from Europe. In Shamir’s novel that I spoke of earlier, the Other is a Diaspora Jew, a Holocaust survivor, described as a “podgy bald man,” and also as a despicable crook. The fact that these characters were Holocaust survivors did not save them from unsightly

Посмотрите, как далеко эта мечта сбылась, а затем превратилась в кошмар, в самом большом и перенаселенном гетто в мире.

Ещё один интересный аспект — это внешнее преображение. В еврейской литературе, в отличие от израильских евреев, родившихся в Израиле, еврей внезапно превращается в блондина. Если углубиться в еврейскую литературу 1940-х — 1970-х годов, то можно встретить больше голубоглазых блондинок, чем где-либо ещё в Израиле. Действительно, эта тенденция несколько замедлилась с развитием израильского кинематографа, возможно, потому что было трудно найти достаточно голубоглазых блондинов для всех ролей.

В ключевом романе *Он шел по полям*. В книге Моше Шамира один из великолепных юношей описан так: «Если бы вы сорвали с него рубашку возле плеча, его белая, нежная кожа обнажила бы большие солнечные пятна и золотистый пух». В произведениях Амоса Оза также много молодых людей, чей загар сияет золотистым пухом. Как мы увидим, даже его школьная учительница в кибуце, которая, по его словам, спала с ним, не только делала это очень тактично, под звуки Шуберта, но и сама имела кожу, покрытую золотистым пухом.

И лучший пример — это классическая серия книг для подростков. *Хасамба* Эта история сопровождала детство практически всех израильтян до 1980-х годов — история группы детей из Тель-Авива, которые создают тайную группу, своего рода детское военное подразделение, воюющее против британцев, затем арабов и, конечно же, преступников. Ее почитаемый командир, образец для подражания, Ярон Зехави, всегда был смелым, чутким, преданным — и очень, очень светловолосым. Это самоидентификация практически не изменилась за два поколения. Сотни тысяч израильтян читают эти книги и учатся воспринимать себя как уязвимых, смелых — и часть западной фантазии, которая приравнивает определенный, белый, тип красоты к справедливости.

Важно также помнить, что «другой» светловолосого героя обычно тоже появляется в этих книгах. В произведениях Ицхара «другими» являются некрасивые евреи ближневосточного происхождения или евреи диаспоры из Европы. В романе Шамира, о котором я говорила ранее, «другой» — это еврей диаспоры, переживший Холокост, описанный как «пухлый лысый мужчина», а также как презренный мошенник. Тот факт, что эти персонажи пережили Холокост, не спас их от неприглядного образа.

descriptions in early Zionist literature. Almost the opposite is true. In our parents' pioneering ideology, those who did not come to Palestine on time were responsible for their own fate. It would take me many pages to describe the shift in that narrative. I can only mention here that sometimes, in a long process of "identification," Israel managed to create a "joint subject": the Holocaust survivor as Israeli hero.

One more point is worth noting. In Israeli cultural studies, the culture written in Hebrew by Jews born in Palestine since the 1930s is referred to as the "native" culture. The *sabra* is the native, and his Other is the immigrant, especially if he came to Palestine after the Second World War, compelled by historic events, rather than choosing to come as a pioneer. But where are these called "natives" in English, or in other languages? Where is the "real native"? Where is "the indigenous culture"? There is no such thing in Hebrew literature, or there appears to be no such thing. In other words, Hebrew expropriated, by the use of the term "native" (*yalid*, pl. *yelidim*), even that status from the Palestinians. Palestinian civilization—for example, the unique embroidery on dresses, the way the fields were cultivated around the houses, the joint guest room for the entire village in poor villages—all this, together with specific features of the spoken, colloquial language, are part of a native civilization, but were never part of our discussion, in Israel, of "native culture." Here, once again, the *sabra* as a kind of creation of a New Man also became the starting point for civilization in our land, allegedly connecting directly back to an ancient civilization, Biblical or Canaanite.

However, a careful reading will show that the *sabra* might be the Western subject of this literature, or culture of images, while his parents—who came from Eastern Europe—are "not-yet-Westerners." The metamorphosis of the Jew from non-Westerner to candidate-as-Westerner is the most central part of Israeli ideology.

The importance of this metamorphosis has been part of Zionist ideology from its onset, sometimes in socialist, even Marxist rhetoric, and sometimes in nationalistic rhetoric. The challenges of this metamorphosis were great. The desire in our literature for a Western

В ранней сионистской литературе встречаются описания, но на самом деле всё обстоит почти наоборот. В пионерской идеологии наших родителей те, кто не прибыл в Палестину вовремя, сами несли ответственность за свою судьбу. Мне потребовалось бы много страниц, чтобы описать изменение этого нарратива. Здесь я могу лишь упомянуть, что иногда, в длительном процессе «идентификации», Израилю удавалось создать «общий субъект»: переживший Холокост как израильский герой.

Стоит отметить еще один момент. В израильских культурологических исследованиях культура, выраженная на иврите евреями, родившимися в Палестине после 1930-х годов, называется «родной» культурой. *сабра* «Кто-то — коренной житель, а кто-то другой — иммигрант, особенно если он приехал в Палестину после Второй мировой войны, вынужденный историческими событиями, а не выбравший путь первопроходца. Но где в английском или других языках их называют «коренными жителями»? Где «настоящий коренной житель»? Где «местная культура»? В еврейской литературе такого нет, или, по-видимому, нет. Другими словами, еврейский язык экспроприирован посредством использования термина «коренной житель» (*ялид*, пл. *елидим*), даже этот статус со стороны палестинцев. Палестинская цивилизация — например, уникальная вышивка на платьях, способ обработки полей вокруг домов, общая гостевая комната для всей деревни в бедных деревнях — все это, вместе со специфическими особенностями разговорного языка, является частью местной цивилизации, но никогда не обсуждалось в Израиле в контексте «местной культуры». Здесь, в очередной раз, *сабра* Сотворение нового человека, по сути, стало отправной точкой для цивилизации на нашей земле, предположительно напрямую связанной с древней цивилизацией, библейской или ханаанской.

Однако внимательное прочтение покажет, что *сабра* Возможно, он является западным героем этой литературы или культуры образов, в то время как его родители, приехавшие из Восточной Европы, — «ещё не западные люди». Превращение еврея из незападного человека в кандидата в западные люди — это центральная часть израильской идеологии.

Важность этой метаморфозы была частью сионистской идеологии с самого её зарождения, иногда в социалистической, даже марксистской риторике, а иногда в националистической. Вызовы этой метаморфозы были велики. В нашей литературе существовало стремление к западному образу.

physiognomic appearance, which I have described before, can also be seen, for example, in local beauty pageants, where for decades the rare Israeli blondes were always preferred, chosen to represent Israel in beauty contests abroad. The same can be seen in the abundance of blondes in local soap operas and among TV newscasters. While I am writing this preface, the Israeli media, between the Gaza massacres and the formation of a new government, is obsessed with the success in the US of a certain model by the name of Bar Refaeli. I can hardly think of any other normal country where such a success (being featured on the cover of *Sports Illustrated* and being interviewed by David Letterman) would be treated on the news as an issue of national importance. But the news issue is not Refaeli's breasts or the latest scoop in the gossip columns, or even "our success," but rather her image as a "Western chick." How embedded this theme is within popular propaganda was visible in the press during the Gaza massacre. Every day there were photographs of "chicks," most of them blondes, all of them soldiers in the "innocent" army. Is the soldier-girl the new, sexist version of the old, tarnished not-yet-man soldier?

In any case, this Western physiognomical fantasy is an element of something much deeper, namely a desire to differentiate ourselves from our surroundings, here in the heart of the Middle East, to be the exclusive representatives over here of a better, brighter, Western world. When Israeli soccer commentators notice a fistfight breaking out on the field or among fans in the stands, they are always quick to exclaim: "Where are we? In Africa? Is this how we want to become part of Europe?" In another variation, Ehud Barak constantly describes Israel as a "villa in the jungle." Over and over we are told that Israeli violence is necessary, including the killing of innocent civilians, because, after all, "we are not in Europe," as if Europe did not inflict on the world the most horrible violence of modern times, both on the non-Western parts of the globe and on our own relatives, not to speak of the others, in their midst, just over half a century ago. The injunction is incessant: We must be worthy of being part of Europe, of being part of the West. In international math tests, the greatest shame for Israelis is that, in recent years, Iran has

Физиономические особенности внешности, которые я описывал ранее, можно наблюдать, например, на местных конкурсах красоты, где на протяжении десятилетий предпочтение всегда отдавалось редким израильским блондинкам, выбранным для представления Израиля на зарубежных конкурсах красоты. То же самое можно увидеть в обилии блондинок в местных сериалах и среди телеведущих. Пока я пишу это предисловие, израильские СМИ, в период между резней в Газе и формированием нового правительства, одержимы успехом в США некой модели по имени Бар Рафаэли. Мне трудно представить себе другую нормальную страну, где был бы такой успех (появление на обложке журнала). *Спорт Иллюстрированный* (например, интервью с Дэвидом Леттерманом) в новостях воспринималось бы как вопрос национального значения. Но новостной темой является не грудь Рефаэли, не последние сенсации в светской хронике и даже не «наш успех», а скорее её образ «западной девушки». Насколько эта тема укоренилась в популярной пропаганде, было очевидно в прессе во время резни в Газе. Каждый день появлялись фотографии «девушек», большинство из которых были блондинками, все они были солдатами «невинной» армии. Является ли девушка-солдат новой, сексистской версией старого, запятнанного солдата, ещё не ставшего мужчиной?

В любом случае, эта западная физиогномическая фантазия — элемент чего-то гораздо более глубокого, а именно желания отличаться от окружающего мира, здесь, в самом сердце Ближнего Востока, быть здесь единственными представителями лучшего, более светлого западного мира. Когда израильские футбольные комментаторы замечают драку на поле или среди болельщиков на трибунах, они всегда быстро восклицают: «Где мы? В Африке? Так мы хотим стать частью Европы?» В другом варианте Эхуд Барак постоянно описывает Израиль как «виллу в джунглях». Нам снова и снова говорят, что израильское насилие необходимо, включая убийство невинных мирных жителей, потому что, в конце концов, «мы не в Европе», как будто Европа не причинила миру самое ужасное насилие современности, как в незападных частях земного шара, так и в отношении наших собственных родственников, не говоря уже о других, среди них, чуть более полувека назад. Приказ непрестанный: мы должны быть достойны быть частью Европы, быть частью Запада. В международных тестах по математике наибольший позор для израильтян заключается в том, что в последние годы Иран...

scored higher than we have, as if the Iranians are not supposed to excel in math, while we are destined to.

History is always written by the mighty, by the victors. Even if we do not talk openly of bloodshed, of the price of our blood compared to “theirs” in the ongoing equation between sufferings, every discussion about Israel must bear in mind that over 10 million people live in this nation-state and the territories occupied by it. Half of them are Arabs, but almost 4 million of them live under military occupation, with virtually no law protecting them. Fifty percent of all the prisoners in Israeli prisons and detention centers—in other words, 10,000 people—are “security prisoners,” as Israel calls them, in other words Arabs from the occupied territories who are sitting in prison after being convicted by military courts, or detained without any trial at all. Close to 4 million people are currently living under the longest military occupation in modern times, stripped of the right to vote on the laws that have governed their lives for more than four decades.

The Gaza Strip, with its 1.5 million inhabitants, is enclosed by fences, devoid of any independent means of subsistence—it is nothing more than a huge ghetto. The West Bank, with its 2.5 million Palestinians, is sliced up by army bases and Jewish settlements that continue to grow, connected to each other through a network of highways that the Palestinians are not allowed to use. The movement restrictions imposed by Israel include 75 manned checkpoints, approximately 150 mobile checkpoints, some 445 obstacles placed between roads and villages, including concrete cubes, earth ramparts, 88 iron gates and 74 kilometers of fences along main roads. This “roadblock policy” confines the vast majority of West Bank Palestinians to their own village or town. They are not allowed to ride on the same roads that Israel’s citizens ride on, not even in “their own” territory, let alone through “ours.”

Usually, the debate turns to the question of what came first. But I wanted to spare the reader this discussion. I just wanted to let these numbers hang: 2.5 million Palestinians in the West Bank, their communities cut off from each other, and on the other hand 250,000 Israeli Jewish settlers, a ten-minute drive away from the State of Israel. That is all. A Palestinian boy born in Tul Karm not only has never seen the Mediterranean, which is just a few miles away, but

Они набрали больше баллов, чем мы, как будто иранцы не должны преуспевать в математике, в то время как нам это суждено.

Историю всегда пишут сильные, победители. Даже если мы открыто не говорим о кровопролитии, о цене нашей крови по сравнению с «их» в постоянно меняющемся уравнении страданий, в любом обсуждении Израиля необходимо помнить, что в этом государстве и на оккупированных им территориях проживает более 10 миллионов человек. Половина из них — арабы, но почти 4 миллиона живут под военной оккупацией, практически без какой-либо защиты со стороны закона. Пятьдесят процентов всех заключенных в израильских тюрьмах и центрах содержания под стражей — другими словами, 10 000 человек — это «заключенные по соображениям безопасности», как их называет Израиль, то есть арабы с оккупированных территорий, находящиеся в тюрьме после вынесения обвинительного приговора военными судами или задержанные без суда. Около 4 миллионов человек в настоящее время живут под самой длительной военной оккупацией в современной истории, лишённые права голоса в вопросах законов, которые регулировали их жизнь более четырех десятилетий.

Сектор Газа с его 1,5 миллионами жителей окружен заборами, лишен каких-либо самостоятельных средств к существованию — это не что иное, как огромное гетто. Западный берег, с его 2,5 миллионами палестинцев, разделен на армейские базы и еврейские поселения, которые продолжают расти и соединены между собой сетью автомагистралей, которыми палестинцам запрещено пользоваться. Ограничения на передвижение, введенные Израилем, включают 75 охраняемых контрольно-пропускных пунктов, около 150 мобильных контрольно-пропускных пунктов, примерно 445 препятствий, установленных между дорогами и деревнями, включая бетонные кубы, земляные валы, 88 железных ворот и 74 километра заборов вдоль основных дорог. Эта «политика блокпостов» ограничивает подавляющее большинство палестинцев Западного берега их собственными деревнями или городами. Им не разрешается ездить по тем же дорогам, по которым ездят граждане Израиля, даже на «своей» территории, не говоря уже о «нашей».

Обычно дискуссия сводится к вопросу о том, что было первым. Но я хотел избавить читателя от этой дискуссии. Я просто хотел, чтобы эти цифры остались неизменными: 2,5 миллиона палестинцев на Западном берегу, их общины отрезаны друг от друга, и, с другой стороны, 250 000 израильских еврейских поселенцев, всего в десяти минутах езды от Государства Израиль. Вот и всё. Палестинский мальчик, родившийся в Туль-Карме, не только никогда не видел Средиземного моря, которое находится всего в нескольких милях отсюда, но и

also has never visited his grandmother, who lives, say, in Ramallah. Forget the reasons. They only lead to legalistic, self-righteous arguments. Take upon yourselves the task of the future historian. What will he, or she, say one day of this apartheid in the West Bank? That it was the “fault of the natives”?

And maybe this is most important of all: a figure from a report published in March 2008 showed that the infant mortality rate among Arab citizens of Israel is double the rate among the Jewish population—8 per 1,000 live births compared with 4 per 1,000 live births.⁴ What is the infant mortality rate in the occupied territories? In 2006 it was 25.3 per 1,000 live births.

As Israel increasingly becomes a stronger regional superpower, our cultural need to build ourselves up as a separate, unique, foreign element in the region in which we live only grows. There is something in modern-day Israeli culture that emphasizes more than ever a fantasy for Western homogeneity, side by side with a lack of will—or lack of ability—to cease to live by the sword. Why disarm ourselves if the fences not only help us be safe, but also help us stay in “the West”? Or, in the words of the future historian: Why think of peace, if the price we will have to pay in return is a heterogeneous life? Better to rejoice that our region is becoming a frontier. Why have open borders? On the contrary, we want to close them down. We have an aerial line to the West, over the sea. Have we not thus fulfilled Theodor Herzl’s vision?

Israel would not behave the way it did if US political society did not let it have its way. For years what was called the Israeli Left waited for American pressure. It never arrived. Israel is entangled somewhere between its own adventures and American politics. It is caught in a lethal web. The “natural” allies of Israel in the US are those fervent Zionists among the Jewish community. I can hardly find appropriate words for them. I am sure they are willing to see the fighting continue until the last drop of our—both Palestinian and Jewish—blood is spilt, here in a place where they, the US Zionists, could not stand to live.

Он также никогда не навещал свою бабушку, которая живет, скажем, в Рамалле. Забудьте о причинах. Они лишь приводят к юридическим, самодовольным спорам. Возьмите на себя задачу будущего историка. Что он или она однажды скажет об этом апартеиде на Западном берегу? Что это была «вина туземцев»?

И, возможно, самое важное: данные из отчета, опубликованного в марте 2008 года, показали, что уровень младенческой смертности среди арабских граждан Израиля вдвое выше, чем среди еврейского населения — 8 на 1000 живорожденных против 4 на 1000 живорожденных.

роды.⁴ Каков уровень младенческой смертности на оккупированных территориях? В 2006 году он составлял 25,3 на 1000 живорожденных.

По мере того как Израиль все больше становится региональной сверхдержавой, наша культурная потребность позиционировать себя как отдельный, уникальный, чужеродный элемент в регионе, в котором мы живем, только растет. В современной израильской культуре как никогда прежде подчеркивается фантазия о западной однородности, наряду с отсутствием желания — или неспособностью — перестать жить мечом. Зачем разоружаться, если заборы не только помогают нам быть в безопасности, но и позволяют нам оставаться на «Западе»? Или, как сказал бы будущий историк: зачем думать о мире, если цена, которую нам придется заплатить взамен, — это неоднородная жизнь? Лучше радоваться тому, что наш регион становится границей. Зачем открытые границы? Напротив, мы хотим их закрыть. У нас есть воздушная линия на Запад, через море. Разве мы таким образом не воплотили в жизнь видение Теодора Герцля?

Израиль не вел бы себя так, как вел, если бы американское политическое общество не позволило ему поступать по-своему. Годами так называемые израильские левые ждали давления со стороны Америки. Оно так и не последовало. Израиль запутался где-то между собственными авантюрами и американской политикой. Он попал в смертельную паутину. «Естественными» союзниками Израиля в США являются ярые сионисты из еврейской общины. Мне трудно подобрать для них подходящие слова. Я уверен, что они готовы видеть продолжение боевых действий до тех пор, пока не прольется последняя капля нашей — палестинской и еврейской — крови, здесь, в месте, где они, американские сионисты, не смогли бы жить.

INTRODUCTION

Israel—despite its claims regarding a hostile world media—is quite a hit in Europe. Not only do Israelis live constantly within the imaginary of the West, but it has become common in the West to see “us” Israelis as part of “them,” at least as long as we are here, in the Middle East, a late version of *pieds noirs*.

The identification with “us” works even better with the Holocaust culture, offering the new European, within the context of “the end of history,” a better version of his own identity vis-à-vis the colonial past and the “postcolonial” present. Anxious over the masses of Muslim immigrants, legal and illegal, the new European has adopted the new Jew as the convenient Other—progressive, modern, with no beard, no side locks, his wife wearing no “funny” traditional clothes and not covering her hair. Fortunately, these new Jews look nothing like their grandparents. In short, the presentable Other is quite similar to the European self, who is still relentless when it comes to those others who do not look like him or her, do not dress like him or her, do not conform to his or her values. This is exactly where I wish to intervene, with both a political analysis of the Holocaust culture in Europe (in [Chapter 1](#)), and then an analysis of the way Israel won the hearts and minds of public opinion in the West (in [Chapter 2](#)), through a special use of tarnished colonial sentiments.

Israel is like a European periphery, where the national ideology interpellates its subjects as the “last outpost” facing “barbaric non-

ВВЕДЕНИЕ

Израиль, несмотря на заявления о враждебном отношении мировых СМИ, пользуется большой популярностью в Европе. Израильцы не только постоянно живут в рамках западного мировоззрения, но и на Западе стало обычным делом воспринимать «нас», израильтян, как часть «них», по крайней мере, пока мы находимся здесь, на Ближнем Востоке, — своего рода позднюю версию... *pieds noirs*.

Идентификация с «нами» работает еще лучше в контексте культуры Холокоста, предлагая новому европейцу, в контексте «конца истории», улучшенную версию собственной идентичности по отношению к колониальному прошлому и «постколониальному» настоящему. Обеспокоенный массами мусульманских иммигрантов, легальных и нелегальных, новый европеец принял нового еврея как удобного Другого — прогрессивного, современного, без бороды, без вьющихся прядей, с женой, не носящей «странную» традиционную одежду и не покрывающей волосы. К счастью, эти новые евреи совсем не похожи на своих бабушек и дедушек. Короче говоря, презентабельный Другой очень похож на европейское «я», которое по-прежнему неумолимо относится к тем, кто не похож на него или нее, не одевается как он или она, не соответствует его или ее ценностям. Именно здесь я хочу вмешаться, проведя политический анализ культуры Холокоста в Европе (в [Глава 1](#)), а затем анализ того, как Израиль завоевал сердца и умы общественности на Западе (в [Глава 2](#)), посредством особого использования запятанных колониальных настроений.

Израиль подобен европейской периферии, где национальная идеология обращается к своим подданным как к «последнему форпосту», противостоящему «варварскому не-

Europe” (for example, Croatia at the threshold of Western Europe faced with Serbia, or Serbia confronting the Muslim world). The criteria for determining what is Western and what is not have always been based on borders of white and/or Western Christianity as the separation wall in the European imagination. But the most famous (and least imaginary) of all the cases is the current objection to Turkey becoming a member of the EU. Even the arguments made by the liberals in favor of accepting Turkey are part of almost the same demarcation (“We should encourage moderate Islam,” “The *hijab* is forbidden there by law,” etc.). Where is Israel in such an imaginary map? Where are the Jews, after the extermination of European Jewry? (Before that extermination, as we all know, Jews were not part of the West, never accepted as full members of the West, despite the fashionable nostalgia for these dead Jews today). Israel is part of the West, according to this very political definition of Europe. But it is an illusion to believe it possible to draw a line between where Jewish Israel ends and the Arab world begins. (I shall discuss this fantasy in [Chapter 4](#), when dealing with A. B. Yehoshua and his desire to erase his “Sephardic shame”).

Some 60 percent of the Jews in Israel are not Ashkenazi (of European origin, Western). Shall we assume that the majority of Jews in Israel are not Western, and therefore an imaginary border might be drawn between Ashkenazi and Mizrahi (“Oriental” in Hebrew) Jews? It would be a mistake, because it would concern skin color, or place of birth, or accent, or cuisine, or certain religious traditions in an almost racial—not to say racist—manner, by accepting a certain “ethnic” difference between Europeans and non-Europeans.¹ My point is that the line between West and non-West, between West and East, does not divide Palestinians and Jews, or Oriental and Ashkenazi Jews, but rather in a very peculiar way it traverses the Jewish people, as a people, or as a nation. We, as a people, or a religion, even those of us who came originally from Western Europe, were never made part of the (Christian) West. And this despite the nationalization that the Jewish people underwent. Even that nationalization did not make us Westerners, I suggest.²

A comprehensive analysis of this ambiguity of the Jews as always (and already) non-Western requires in historians and

Европа» (например, Хорватия на пороге Западной Европы, противостоящая Сербии, или Сербия, противостоящая мусульманскому миру). Критерии определения того, что является западным, а что нет, всегда основывались на границах белого и/или западного христианства как разделительной стене в европейском воображении. Но самым известным (и наименее вымышленным) из всех случаев является нынешнее возражение против вступления Турции в ЕС. Даже аргументы либералов в пользу принятия Турции являются частью почти того же разграничения («Мы должны поощрять умеренный ислам», «...хиджаб (там это запрещено законом, и т. д.). Где Израиль на такой воображаемой карте? Где евреи после истребления европейского еврейства? (До этого истребления, как мы все знаем, евреи не были частью Запада, никогда не признавались полноправными членами Запада, несмотря на модную сегодня ностальгию по этим погибшим евреям). Израиль является частью Запада, согласно этому самому политическому определению Европы. Но это иллюзия — верить в возможность провести черту между тем, где заканчивается еврейский Израиль и начинается арабский мир. (Я обсужу эту фантазию в [Глава 4](#) (при общении с А. Б. Йехошуа и его желанием стереть свой «сефардский позор»)).

Около 60 процентов евреев в Израиле не являются ашкенази (европейского происхождения, западного происхождения). Следует ли предположить, что большинство евреев в Израиле не являются западными, и, следовательно, можно ли провести воображаемую границу между ашкенази и мизрахи («восточными» на иврите) евреями? Это было бы ошибкой, поскольку это касалось бы цвета кожи, места рождения, акцента, кухни или определенных религиозных традиций почти в расовом — если не сказать расистском — ключе, принимая во внимание определенное «этническое» различие между европейцами и неевропейцами. Европейцы.¹ Моя точка зрения заключается в том, что грань между Западом и не-Западом, между Западом и Востоком, не разделяет палестинцев и евреев, или восточных и ашкеназских евреев, а скорее, весьма своеобразным образом пересекает еврейский народ как народ или как нацию. Мы, как народ или религия, даже те из нас, кто изначально приехал из Западной Европы, никогда не были частью (христианского) Запада. И это несмотря на национализацию, которой подвергся еврейский народ. Даже эта национализация, как мне кажется, не сделала нас западными людьми.²

Всесторонний анализ этой неоднозначности представления о евреях как о всегда (и уже) не западных людях требует от историков и исследователей

philosophers a profound attempt to historicize Jewish life over the past two hundred years, since the Emancipation of the Jews. This is an ambitious objective and I can only offer here to analyze some political symptoms of this lack of a proper history. All I can say to my readers is that even the standards according to which Western enlightenment defines secularism versus religion as the first maxim of modern societies are strange and inapplicable to Jewish history. Forget our state regulation of matrimonial laws, which are undemocratic and imposed on all of us, cynically blamed on the religious parties (the main victims being women), while in fact they serve the racist interest of the state to prevent “mixed marriages” between Jews and non-Jews (that is, Arabs). But take, instead, such an easy case as that of traditional dietary laws: 60 percent of Jews in Israel observe the rules of *Kashrut*, not only avoiding pork, but also the other restrictions. They do this by choice, not as something that can be explained away by religious coercion. And if that doesn’t make my point, take another crucial example: 99.9 percent of us circumcise our newborn sons, and do so on the eighth day after their birth, as mandated by Jewish law. Yet, most of us consider ourselves secular, and this inconsistency cannot be explained by the European standard of the division between the secular and the religious. My point is that even the self-evident division—which Jews accepted as a way of life when they submitted their culture to the European (Christian) imperative to “Be a Jew at home, a human being outdoors”³—didn’t really grasp the diverse histories of the Jews. Any attempt to gather all these histories under Western history has failed.

It should have been through us that Europe could have redeemed itself for its colonial past. It should have been through us that Europe learned to tolerate Islam, the most prominent refusal to accept Western secularism as a way of life. Tragically, what has happened is the opposite. It is through us that Europe, for reasons I shall discuss throughout the book, intensified its hatred of Islam and the Arabs: our state—presented as the true heir of the Holocaust victims, most of whom looked “very different from modern Europeans,” most of whom were mocked in the same manner that traditional Muslims are mocked today—gave way to the return of the colonial.

Философы предпринимают глубокую попытку историзировать еврейскую жизнь за последние двести лет, со времен эмансипации евреев. Это амбициозная цель, и здесь я могу лишь предложить анализ некоторых политических симптомов отсутствия полноценной истории. Все, что я могу сказать своим читателям, это то, что даже стандарты, по которым западное Просвещение определяет секуляризм против религии как первую максимум современных обществ, странны и неприменимы к еврейской истории. Забудьте о нашем государственном регулировании брачных законов, которые недемократичны и навязываются всем нам, цинично возлагая вину на религиозные партии (главными жертвами являются женщины), в то время как на самом деле они служат расистским интересам государства, предотвращая «смешанные браки» между евреями и неевреями (то есть арабами). Но возьмем, например, такой простой случай, как традиционные диетические законы: 60 процентов евреев в Израиле соблюдают правила *Кашрут*. Они не только избегают свинины, но и других ограничений. Они делают это по собственному выбору, а не под влиянием религиозного принуждения. И если это не доказывает мою точку зрения, приведем еще один важный пример: 99,9% из нас делают обрезание новорожденным сыновьям на восьмой день после их рождения, как предписано еврейским законом. Тем не менее, большинство из нас считают себя светскими людьми, и это несоответствие нельзя объяснить европейским стандартом разделения на светских и религиозных. Моя мысль заключается в том, что даже это очевидное разделение — которое евреи приняли как образ жизни, когда подчинили свою культуру европейскому (христианскому) императиву «Будь евреем дома, человеком» — даже очевидное разделение, которое евреи приняли как образ жизни, когда подчинили свою культуру европейскому (христианскому) императиву «Будь евреем дома, человеком».

на открытом воздухе»³ — не совсем понимал многообразие истории евреев. Любая попытка объединить все эти истории в рамках западной истории потерпела неудачу.

Именно благодаря нам Европа могла искупить своё колониальное прошлое. Именно благодаря нам Европа должна была научиться терпимо относиться к исламу, самому заметному противнику западного секуляризма как образа жизни. Трагично, что произошло обратное. Именно благодаря нам Европа, по причинам, которые я буду обсуждать на протяжении всей книги, усилила свою ненависть к исламу и арабам: наше государство — представленное как истинный наследник жертв Холокоста, большинство из которых выглядели «совсем иначе, чем современные европейцы», большинство из которых высмеивались так же, как сегодня высмеивают традиционных мусульман, — уступило место возвращению колониального прошлого.

If we peel away the belief in the eternity of Zion, an eternity that every nationalist in the world believes about his or her nationhood; if we push aside the ancient religious yearning for Zion, a yearning that never disappeared but was also never acted upon by the believers until political Zionism took over and nationalized the Jewish religion; if we forget the prayers for redemption in Zion, which are still recited daily by religious Jews in Israel, as well as in Paris or Brooklyn or Yemen, we can get at the pure logic of the tragedy: Zionism thought it would politically resolve the exile within Europe—Jews as “Orientals inside the Occident”—not just by an Exodus, by going elsewhere, but by going to the heart of the colonial hinterland of Europe, the East, not to become part of that East but in order to become representatives of the West “over there,” far away from the exile we were subjected to “here,” inside Europe. This is how Herzl put it, in very crude words, in his programmatic book *The Jewish State*. After his bitter and sincere description of European hatred toward the Jews following the Dreyfus affair, a hatred he saw as incurable, he writes: “For Europe we could constitute part of the wall of defence against Asia: we could serve as an outpost against barbarism. As a neutral state we would remain in contact with all of Europe, which would have to guarantee our existence.”⁴ This is a symptomatic prophecy, yet the violence it brought about was targeted not only against Palestinians, but also against the Jews from Muslim and Arab countries who were brought to Israel, and against religious Jews who were forcibly “modernized” according to the vision that called for the creation of a new Jew. In short, the colonial border operated both outward and inward. Most Zionists, especially on the Left, and even religious Zionists, accepted that nineteenth-century hatred toward the Jews was the fault of its victims: Jews were “parasites,” “non-productive,” “non-enlightened,” “backward” in other words, not fully human. Something, they all believed, was lacking in the European Jewish traditional way of life. Somehow, this always implied that being normal was being like Westerners. Zionism did not invent this capitulation to the demand “Modernize yourselves!” as a standard of progress. That capitulation found its roots already in eighteenth-century Europe, among the scholars and founders of the Jewish Enlightenment movement. But

Если мы отбросим веру в вечность Сиона, вечность, в которую верит каждый националист в мире относительно своей национальной принадлежности; если мы отбросим древнее религиозное стремление к Сиону, стремление, которое никогда не исчезало, но и никогда не воплощалось в жизнь верующими до тех пор, пока политический сионизм не взял верх и не национализировал иудаизм; если мы забудем молитвы об искуплении в Сионе, которые до сих пор ежедневно читаются религиозными евреями в Израиле, а также в Париже, Бруклине или Йемене, мы сможем добраться до чистой логики трагедии: сионизм считал, что он политически разрешит проблему изгнания внутри Европы — евреев как «восточных людей внутри Запада» — не просто путем исхода, путем перемещения в другое место, а путем перемещения в самое сердце колониальной глубинки Европы, на Восток, не для того, чтобы стать частью этого Востока, а для того, чтобы стать представителями Запада «там», вдали от изгнания, которому мы подвергались «здесь», внутри Европы. Вот как это выразился Герцль, весьма грубо, в своей программной книге.

Еврейское государство После своего горького и искреннего описания европейской ненависти к евреям после дела Дрейфуса, ненависти, которую он считал неизлечимой, он пишет: «Для Европы мы могли бы стать частью стены обороны против Азии: мы могли бы служить форпостом против варварства. Будучи нейтральным государством, мы оставались бы в контакте со всеми Европа, которая должна будет гарантировать наше существование». ⁴ Это симптоматическое пророчество, однако вызванное им насилие было направлено не только против палестинцев, но и против евреев из мусульманских и арабских стран, привезенных в Израиль, а также против религиозных евреев, которых насильно «модернизировали» в соответствии с видением, призывавшим к созданию нового еврея. Короче говоря, колониальная граница действовала как наружу, так и внутрь. Большинство сионистов, особенно левых, и даже религиозные сионисты, признавали, что ненависть XIX века к евреям была виной ее жертв: евреи были «паразитами», «непродуктивными», «непросвещенными», «отсталыми», другими словами, не совсем людьми. Все они считали, что чего-то не хватает в традиционном европейском еврейском образе жизни. Каким-то образом это всегда подразумевало, что быть нормальным — значит быть похожим на западных людей. Сионизм не изобрел эту капитуляцию перед требованием «Модернизируйтесь!» как стандарт прогресса. Эта капитуляция берет свое начало еще в Европе XVIII века, среди ученых и основателей еврейского Просвещения. Но

the Zionist contribution to the “normalization of the Jews” (according to Western standards) was in going to the Orient. The colonized Jews now tried to free themselves by colonizing others. And this is even more tragic, because that self-distancing from Europe did not solve the “problem.” There is not one inner schism within Israeli Jewish society that doesn’t look like the return of *that* repressed: modernization, or, better, colonizing the Middle East, did not abolish the schism between “us” and the West.

The huge tension between Ashkenazi and Sephardic Jews—in quotidian life, in neighborhoods, in supermarkets, in schoolyards, on the buses, in the hospitals, in many of the political scandals—reflects that unresolved colonized tension. “We” were supposed to modernize “you,” who came (or were brought) to redeem yourselves from North Africa, or Yemen or Iraq. “You” were not supposed to remind “us” of where we live, that is, in the Middle East. “You are ruining our fantasy” could be one description of the hatred felt toward Mizrahi Jews in Israel. (The hatred on the part of the Mizrahi Jews toward the Ashkenazi is widely known.) Yet this ethnic tension is not the only one. There is also the tension between the ultra-Orthodox and “secular” camps, a tension that sometimes becomes hateful, almost anti-Semitic in its tone, and for almost the same reasons: “You [the *Haredim*, ultra-Orthodox Jews] are not modern, you are backward, parasites, you are what the anti-Semites said about our fathers.”

All this needs to be explained by a certain form of profound identification with an imaginary West, be it Western Europe, or America, or both. All modern Hebrew (secular) culture has been constructed within that imaginary. Even the Holocaust, despite the political role Israel assigns to it by making it part of our national ideology (a role it did not play with such importance between the 1950s and 1970s but developed with full force later on), appears as if it were a “historical accident” (as a major poet once said in a philo-European monologue). In other words, the Holocaust, just like its distant metaphor, Auschwitz, deep in the land of the Slavs, was not a part or culmination of Modern Europe. Here one can see how easy it is to merge the European *unheimliche* past with the Israeli way of seeing/not seeing the Holocaust. (I will discuss some of the

Вклад сионистов в «нормализацию евреев» (по западным меркам) заключался в их стремлении на Восток. Колонизированные евреи теперь пытались освободиться, колонизируя других. И это еще трагичнее, потому что это самоотстранение от Европы не решило «проблему». В израильском еврейском обществе нет ни одного внутреннего раскола, который не выглядел бы как возвращение *что* Подавленное: модернизация, или, точнее, колонизация Ближнего Востока, не устранила раскол между «нами» и Западом.

Огромная напряженность между ашкеназскими и сефардскими евреями — в повседневной жизни, в кварталах, супермаркетах, на школьных дворах, в автобусах, в больницах, во многих политических скандалах — отражает эту неразрешенную колониальную напряженность. «Мы» должны были модернизировать «вас», которые пришли (или были привезены), чтобы искупить себя из Северной Африки, Йемена или Ирака. «Вы» не должны были напоминать «нам» о том, где мы живем, то есть на Ближнем Востоке. «Вы разрушаете нашу фантазию» — так можно описать ненависть, которую испытывают к мизрахи в Израиле. (Ненависть мизрахи к ашкенази широко известна.) Однако эта этническая напряженность не единственная. Существует также напряженность между ультраортодоксальным и «светским» лагерями, напряженность, которая иногда становится ненавистной, почти антисемитской по своему тону, и почти по тем же причинам: «Вы [светские] *Харедим*» Ультраортодоксальные евреи — несовременные, вы отсталые, паразиты, вы — то, что антисемиты говорили о наших отцах».

Всё это необходимо объяснить определённой формой глубокой идентификации с воображаемым Западом, будь то Западная Европа, Америка или и то, и другое. Вся современная еврейская (светская) культура построена в рамках этого воображения. Даже Холокост, несмотря на политическую роль, которую Израиль ему отводит, делая его частью своей национальной идеологии (роль, которую он не играл с такой важностью в период с 1950-х по 1970-е годы, но развил в полную силу позже), выглядит как «историческая случайность» (как однажды сказал один крупный поэт в фило-европейском монологе). Другими словами, Холокост, как и его далёкая метафора, Освенцим, расположенный в глубине славянской земли, не был частью или кульминацией современной Европы. Здесь можно увидеть, как легко слить европейское *жуткий* прошлое, связанное с израильским взглядом на Холокост (или его игнорированием). (Я обсужу некоторые из них)

European political background of the Shoah culture in [Chapter 1](#).) Of course, the displacement of Hitler, the new “Hitlers,” to Baghdad (this terminology was common in Israel prior to the US attack on Iraq in 1991) or to Tehran (right now), or even to the poor in the ghetto of Gaza, is just another silly symptom of our own tragedy of not being able to historicize our life, the *Jewish condition*. I will try to deal with this tension—the center of the Israeli ideological enterprise—in three chapters: on the works of Amos Oz and A. B. Yehoshua, and (more briefly in conclusion) on the great playwright Hanokh Levin, perhaps the only Israeli-born writer who deeply studied the (comic) aspects of fantasizing about being in the West while living in the East.

The occupation is entering its fifth decade. It ruined Palestine to such a degree that it will take years or generations to be a developed nation-state, if that is still possible. Israel does not really mean to let it become a free nation. Even during the worst months of the second intifada, trucks of merchandise kept going through to sell Israeli products in the occupied territories. It is a huge market for Israel’s industry. For decades, Israel has prevented the Palestinians from developing any economy of their own. It took over the control of water resources in the West Bank. It used the Palestinians’ labour as long as it needed it. Once the wave of Russian immigration came, it sealed the Palestinians off. And this happened long before the terrorist campaign began. Israel never thought of Palestine as a free nation. Yet any call for a “single state” solution capitulates to the Israeli rejection of an independent Palestine. The vision of “a single state of all its citizens,” as some propose, should not replace the recognition that both nations, Israel and Palestine, have a lot in common that divides them deeply, that is the nationalist project. Even if intellectuals and other non-nationalists, on both sides, may find the rejection of nationalism liberating, negation of the deep need for separate national life cannot succeed (on both sides, it has to do with a very new experience, unlike the European one). Besides, any disavowal of national characteristics in the name of the unitary principle may end up conniving with the ongoing discrimination against Palestinians inside Israel. How many of the Israeli university professors who support “a single state of all its citizens” have protested against the lack of Arab faculty members in their own

Европейский политический контекст культуры Холокоста в [Глава 1](#) Конечно, перемещение Гитлера, новых «Гитлеров», в Багдад (эта терминология была распространена в Израиле до нападения США на Ирак в 1991 году), или в Тегеран (прямо сейчас), или даже в бедное гетто Газы, — это всего лишь еще один нелепый симптом нашей собственной трагедии, заключающейся в неспособности осмыслить нашу жизнь в историческом контексте. *еврейское положение* Я попытаюсь рассмотреть это противоречие — центральную часть израильской идеологической концепции — в трех главах: о творчестве Амоса Оза и А.Б. Йехошуа и (более кратко в заключение) о великом драматурге Ханохе Левине, возможно, единственном израильском писателе, который глубоко изучал (комические) аспекты фантазий о пребывании на Западе, живя при этом на Востоке.

Оккупация продолжается уже пятое десятилетие. Она настолько разрушила Палестину, что для превращения её в развитое национальное государство потребуются годы или даже поколения, если это ещё возможно. Израиль на самом деле не намерен позволить ей стать свободной страной. Даже в самые тяжёлые месяцы второй интифады грузовики с товарами продолжали курсировать по оккупированным территориям, продавая израильскую продукцию. Это огромный рынок для израильской промышленности. На протяжении десятилетий Израиль препятствовал развитию собственной экономики палестинцев. Он взял под контроль водные ресурсы на Западном берегу. Он использовал труд палестинцев столько, сколько было необходимо. С приходом волны российской иммиграции он изолировал палестинцев. И это произошло задолго до начала террористической кампании. Израиль никогда не рассматривал Палестину как свободную страну. Тем не менее, любой призыв к решению проблемы на основе «единого государства» означает капитуляцию перед израильским неприятием независимой Палестины. Представление о «едином государстве всех его граждан», как предлагают некоторые, не должно заменять признание того, что обе нации, Израиль и Палестина, имеют много общего, что глубоко их разделяет, а именно – националистический проект. Даже если интеллектуалы и другие ненационалисты с обеих сторон могут найти отказ от национализма освобождающим, отрицание глубокой потребности в отдельной национальной жизни не может увенчаться успехом (с обеих сторон это связано с совершенно новым опытом, в отличие от европейского). Кроме того, любое отрицание национальных особенностей во имя унитарного принципа может в конечном итоге привести к потворству продолжающейся дискриминации палестинцев внутри Израиля. Сколько израильских университетских профессоров, поддерживающих «единое государство всех его граждан», протестовали против отсутствия арабских преподавателей в своих собственных университетах?

universities? There are so many Arab students in Israel and so few Arab professors, so many unemployed Arab doctors inside Israel. In any case, in the long run the solution will be a bi-national state, in which both nations will be able to run their national lives together, separated by mechanisms that will defend the Palestinians from discrimination and demonization. (Note, for example, how people always talk of independence for the Palestinians and security for Israelis? What about the defence of the Palestinians? What about their insecure lives under Israeli Zionism?)

I hate to turn my autobiography into a political argument. Too many insincere political treatises were written using that trick, assuming that one's life can exemplify a nation (a nineteenth-century innocent novelistic belief). But I shall say that I was born in Palestine, about a month before it became the State of Israel. My home was a Zionist home. Both my parents saw Zionism as their redemption and as a safe haven. Both of them had left Europe in time. My father was a Jewish German militant of the Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) who worked in a local factory in his hometown, until a member of his cell, early in 1933, asked him not to come to cell meetings anymore, because it was "inconvenient." I was brought up to despise chauvinism and any form of racism, with the constant comparison of any racism to Nazi Germany. My mother had come to Palestine from Riga, in Lithuania, as a member of the right-wing Zionist Betar movement. Although she quit that organization before I was born, her deep sentimental love for "all Jews, wherever they came from" (in the young State of Israel that always meant love even for Mizrahi Jews), and her extreme sensitivity to anti-religious sentiments—sentiments we all absorbed in the Zionist youth movements in the early 1960s—became part of my own personal heritage. My wife's father was born in Belgium; hiding in a Flemish farm, he lost his own father in Auschwitz. Her mother was born in Morocco. Our language, in which we shout slogans at demonstrations or read about the daily colonial horrors, is Hebrew. Zionism produced us all as members of a nation. However, confronting Zionism as an ideology and practice, I am not only a son to my parents, but also a father to my child. What shall I tell him

Университеты? В Израиле так много арабских студентов и так мало арабских профессоров, так много безработных арабских врачей внутри Израиля. В любом случае, в долгосрочной перспективе решением станет двунациональное государство, в котором обе нации смогут управлять своей национальной жизнью вместе, разделенные механизмами, которые будут защищать палестинцев от дискриминации и демонизации. (Обратите внимание, например, как люди постоянно говорят о независимости палестинцев и безопасности израильтян? А как же защита палестинцев? А как же их небезопасная жизнь под израильским сионизмом?)

Мне не хотелось бы превращать свою автобиографию в политический спор. Слишком много неискренних политических трактатов было написано с использованием этого приема, предполагая, что жизнь человека может олицетворять собой целую нацию (наивное романное убеждение XIX века). Но я скажу, что родился в Палестине, примерно за месяц до того, как она стала Государством Израиль. Мой дом был сионистским. Оба моих родителя видели в сионизме свое искупление и безопасное убежище. Оба они вовремя покинули Европу. Мой отец был немецким еврейским активистом Социал-демократической партии Германии (СДПГ), работавшим на местном заводе в своем родном городе, пока один из членов его ячейки в начале 1933 года не попросил его больше не приходить на собрания ячейки, потому что это было «неудобно». Меня воспитывали в ненависти к шовинизму и любым формам расизма, постоянно сравнивая любой расизм с нацистской Германией. Моя мать приехала в Палестину из Риги, Литва, как член праворадикального сионистского движения «Бетар». Хотя она покинула эту организацию ещё до моего рождения, её глубокая сентиментальная любовь ко «всем евреям, откуда бы они ни пришли» (в молодом Государстве Израиль это всегда означало любовь даже к евреям-мизрахи) и её крайняя чувствительность к антирелигиозным настроениям — настроениям, которые мы все усвоили в сионистских молодёжных движениях в начале 1960-х годов, — стали частью моего личного наследия. Отец моей жены родился в Бельгии; скрываясь на фламандской ферме, он потерял своего отца в Освенциме. Её мать родилась в Марокко. Наш язык, на котором мы выкрикиваем лозунги на демонстрациях или читаем о ежедневных колониальных ужасах, — иврит. Сионизм сформировал нас всех как членов нации. Однако, сталкиваясь с сионизмом как идеологией и практикой, я являюсь не только сыном для своих родителей, но и отцом для своего ребёнка. Что же мне ему сказать?

when he asks me one day about the deepening disaster in the Middle East? What shall I tell him when he asks what kind of lunacy brought us all to be stained with blood? The feet and the fists are Western, I'll have to tell him, but we are the boots and the brass knuckles. And when he asks whose blood it is, I shall answer: I cannot tell, not only because one cannot tell by smell, or density, or color, but because it is both ours and theirs, and there is an awful lot of it.

Before I go on I should thank my friend, the philosopher Oded Schechter, to whom I owe a lot of my doubts and questions; I also wish to thank my good friend Ruth Meisles, and Dr. Alina Korn, who has always been my political guide. My mistakes are mine, but my insights, if there is any value to them, should be credited to them.

Что мне ответить, когда он однажды спросит меня о нарастающей катастрофе на Ближнем Востоке? Что я ему скажу, когда он спросит, какое безумие привело к тому, что мы все запятнаны кровью? Ноги и кулаки — западные, скажу я ему, но мы — сапоги и кастеты. А когда он спросит, чья это кровь, я отвечу: я не могу сказать, не только потому, что нельзя определить по запаху, плотности или цвету, но и потому, что это и наша, и их кровь, и её ужасно много.

Прежде чем продолжить, я должен поблагодарить своего друга, философа Одеда Шехтера, которому я многим обязан своими сомнениями и вопросами; я также хочу поблагодарить свою хорошую подругу Рут Мейслес и доктора Алину Корн, которая всегда была моим политическим наставником. Мои ошибки — мои, но мои идеи, если они имеют какую-либо ценность, должны быть приписаны им.

1

The Shoah Belongs to Us (Us, the Non-Muslims)

On February 13, 2006, Ilan Halimi, a young Parisian Jew, was found naked and bound, his body covered with torture marks. He died shortly afterward. The police, the media and public opinion unanimously described the murder as anti-Semitic—even though his attackers had not known at the time that Halimi was Jewish. Paris offered the unprecedented spectacle of the entire political spectrum, including the racist extreme right and formerly anti-Semitic conservatives, uniting to organize a joint protest against the outrage. How to explain this unprecedented unanimity? As the *Haaretz* correspondent Daniel Ben-Simon explained to Israeli readers:

Halimi's murder began as a criminal act but has been recognized as motivated by anti-Semitism. The entire country has come together in solidarity. Memories of the 1940s, when France collaborated with the Nazis and sent tens of thousands of french Jews to death camps, have come flooding back.¹

Ben-Simon explained that, for French Jews, “the murder retrospectively justified” “the fear and anxieties that began with the outbreak of the intifada,” a period during which they had “asked for

1

Холокост принадлежит нам (нам, немусульмане)

13 февраля 2006 года Илан Халими, молодой парижский еврей, был найден обнаженным и связанным, его тело было покрыто следами пыток. Вскоре после этого он скончался. Полиция, СМИ и общественное мнение единодушно охарактеризовали убийство как антисемитское — хотя нападавшие в тот момент не знали, что Халими был евреем. Париж стал свидетелем беспрецедентного зрелища: весь политический спектр, включая расистски настроенных крайне правых и ранее антисемитски настроенных консерваторов, объединился для организации совместного протеста против этого возмутительного преступления. Как объяснить это беспрецедентное единодушие? *Хаарец* Корреспондент Даниэль Бен-Симон объяснил израильским читателям:

Убийство Халими изначально было уголовным преступлением, но было признано мотивированным антисемитизмом. Вся страна объединилась в знак солидарности. Нахлынули воспоминания о 1940-х годах, когда Франция сотрудничала с нацистами и отправила десятки тысяч французских евреев в лагеря смерти.

наводнение возвращается.¹

Бен-Симон объяснил, что для французских евреев «убийство задним числом оправдало» «страх и тревоги, начавшиеся с началом интифады», периода, в течение которого они «просили

protection that rarely came.” And, “That is why Chirac attended a memorial service for Halimi at a Paris synagogue ... There is nothing like a presidential visit to reassure Jews and calm fears.” In sum, Ben-Simon could announce to his readers: “Many French Jews have come to feel like stepchildren of the French state. Now they feel as if they are recognized as legitimate offspring.”

The journalist went on to recall the desecration of graves in the Jewish cemetery in the French town of Carpentras in 1990:

The Carpentras incident was motivated by Christian anti-Semitism. Halimi’s murder is a case of Muslim anti-Semitism. Many Jews see it as the result of a deeply-rooted hatred of Jews that has taken hold of France in recent years. No one can convince them otherwise, even though his captors may not have known he was Jewish until after they abducted him.

Writing never proceeds without its slips of the pen. Sometimes it is the author who is revealed in them, but just as often it is something beyond him which speaks through the lapsus to the reader. What is clear from this is, first, that the “new anti-Semitism” is defined not by reference to an analysis of the objective situation, but as how “many Jews see it.” Second, unlike traditional anti-Semitism, its perpetrators are ethnically defined. Third, the shadow of the Nazi past, or European experience under Nazi occupation, becomes the present context of that new anti-Semitism; that very past—even if the “new anti-Semites” have nothing to do with that past—is connected to the evocation of “Jewish sensitivity,” or, better, to those who can articulate it, whether the leadership of the Jewish organizations or the Israeli embassy. In the week that the media were exclaiming over the huge Parisian march against anti-Semitism, the Mayor of London, Ken Livingstone, was suspended from office for four weeks by a disciplinary tribunal for saying that a (Jewish) journalist was behaving like a concentration camp guard. At around the same time, an Austrian court sentenced the English revisionist historian David Irving to three years in prison for having denied that there were gas chambers at Auschwitz. As the *Haaretz* commentator Gideon Levy wrote, attacking the sentence:

«Защита, которая редко предоставлялась». И: «Именно поэтому Ширак присутствовал на поминальной службе по Халими в парижской синагоге... Ничто так не успокаивает евреев и не развеивает страхи, как визит президента». В итоге Бен-Симон мог бы заявить своим читателям: «Многие французские евреи стали чувствовать себя пасынками французского государства. Теперь же они чувствуют себя признанными законными потомками».

Журналист продолжил рассказ, вспомнив о надругательствах над могилами на еврейском кладбище во французском городе Карпентра в 1990 году:

Инцидент в Карпентрасе был мотивирован христианским антисемитизмом. Убийство Халими — это случай мусульманского антисемитизма. Многие евреи видят в этом результат глубоко укоренившейся ненависти к евреям, которая охватила Францию в последние годы. Никто не сможет их переубедить, даже несмотря на то, что его похитители, возможно, не знали, что он еврей, до того, как похитили его.

Письмо никогда не обходится без опечаток. Иногда в них проявляется личность автора, но так же часто через эти опечатки к читателю доносится нечто, выходящее за его рамки. Из этого ясно, во-первых, что «новый антисемитизм» определяется не анализом объективной ситуации, а тем, как «ее видят многие евреи». Во-вторых, в отличие от традиционного антисемитизма, его виновники определяются этнической принадлежностью. В-третьих, тень нацистского прошлого или европейского опыта под нацистской оккупацией становится нынешним контекстом этого нового антисемитизма; это самое прошлое — даже если «новые антисемиты» не имеют к нему никакого отношения — связано с пробуждением «еврейской чувствительности», или, лучше сказать, с теми, кто может ее сформулировать, будь то руководство еврейских организаций или израильское посольство. В ту неделю, когда СМИ восторженно обсуждали масштабный парижский марш против антисемитизма, мэр Лондона Кен Ливингстон был отстранен от должности на четыре недели дисциплинарным трибуналом за то, что заявил, будто (еврейский) журналист вел себя как охранник концлагеря. Примерно в то же время австрийский суд приговорил английского историка-ревизиониста Дэвида Ирвинга к трем годам тюрьмы за отрицание существования газовых камер в Освенциме. *Хаарец* Комментатор Гидеон Леви написал, критикуя это предложение:

It is no small irony that it should be Austria—one of the greatest deniers there is—that has sent Irving to jail. For years Austria denied its responsibility in the extermination ... It sheepishly came back on its positions only after weighing up the enormous political cost this attitude would have. Today, if the country sends Irving to prison so spectacularly, it is of course through application of Austrian law, but it is also to satisfy the international community and Israel, which was pressing for its boycott.²

What, then, Levy went on to ask, should we make of the world's silence at the extermination of a million Tutsis in Rwanda, or the 4 million killed in the Congo? "The world does not want to hear this sort of comparison, and if the facts are not explicitly denied, nobody would imagine punishing anyone for this disgusting indifference." My point is that even if Israel benefits from and sometimes nourishes this new "Culture of the Holocaust," it is above all an internal European matter, and the Jews or Israel are bit players in that particular drama.

Commemorations

How should we understand this philosemitic offensive, this strident new pro-Israel tendency in Western Europe? These incessant complaints of anti-Semitism, while we can see on television the realities of what Israel is perpetrating in the occupied territories, are one aspect of a culture that has recently appeared in Europe. It involves a very particular reworking of the past. Our history is rearranged by those who tell its story in the present; to understand what is going on here we would need to interrogate not just the vulgarized media expressions of this mode of thinking, but also the work of filmmakers, philosophers and writers. The question is: Why now? Why the contemporary concern with the Jewish genocide, nearly half a century after it took place, compared to its treatment in the period immediately after the Second World War?

Israeli Jews like myself grew up in the 1950s in an atmosphere saturated with chaotic, almost anarchic images of the genocide.

Немаловажная ирония заключается в том, что именно Австрия — одна из стран, наиболее склонных отрицать свою причастность к истреблению — отправила Ирвинга в тюрьму. Годами Австрия отрицала свою ответственность за истребление... Она смущенно вернулась к своей позиции только после того, как взвесила огромные политические издержки, которые повлечет за собой такое отношение. Сегодня, если страна так эффектно отправляет Ирвинга в тюрьму, то, конечно же, это происходит в соответствии с австрийским законодательством, но также и для того, чтобы удовлетворить международное сообщество и Израиль, который был... настаивают на бойкоте.²

Леви продолжил: «Что же нам следует думать о молчании мира по поводу истребления миллиона тутси в Руанде или 4 миллионов, убитых в Конго?» «Мир не хочет слышать подобных сравнений, и если факты не будут прямо опровергнуты, никто не станет наказывать кого-либо за это отвратительное безразличие». Моя мысль заключается в том, что даже если Израиль извлекает выгоду из этой новой «культуры Холокоста» и иногда даже подпитывает её, это прежде всего внутреннее европейское дело, и евреи или Израиль — лишь второстепенные игроки в этой конкретной драме.

Памятные мероприятия

Как нам следует понимать это филосемитское наступление, эту резкую новую произраильскую тенденцию в Западной Европе? Эти непрекращающиеся жалобы на антисемитизм, в то время как мы видим по телевидению реальность того, что Израиль совершает на оккупированных территориях, являются одним из аспектов культуры, недавно появившейся в Европе. Она предполагает очень специфическую переработку прошлого. Наша история перестраивается теми, кто рассказывает ее в настоящем; чтобы понять, что здесь происходит, нам нужно было бы подвергнуть сомнению не только вульгаризированные медийные выражения этого образа мышления, но и работы кинематографистов, философов и писателей. Вопрос в том: почему именно сейчас? Почему такое современное внимание к геноциду евреев, спустя почти полвека после того, как он произошёл, по сравнению с тем, как к нему относились в период сразу после Второй мировой войны?

Израильские евреи, такие как я, выросли в 1950-х годах в атмосфере, пронизанной хаотичными, почти анархическими образами геноцида.

They were progressively arranged into fixed form by the dominant ideology: a structured narrative similar in many respects to that which has been created in Europe over the past twenty years. The new vocation of European Shoah culture provokes a certain unease in me, as in other Israelis—whether the suspension of Livingstone, for reasons that have nothing to do with the genocide, or the big march in Paris, or the role the extermination of European Jewry plays in political and cultural Europe. On the upmarket French and German TV channels, Arte or 3Sat; in the big European co-productions—usually between France, Germany and Belgium—for the cinema; in the literature on the Second World War, Auschwitz is everywhere; only Claude Lanzmann could believe that he and his film *Shoah* are the cause of this. It would be facile to see this memorializing culture as a belated crisis of international conscience, or a sense of historical justice that took time to materialize but has now been fully acknowledged; it would be facile also to speak of a new generation's feeling of guilt, without explaining where that guilt is coming from.

The majority of United Nations General Assembly members have emerged from a colonial past: they are the descendants of those who suffered genocides in Africa, Asia or Latin America. There should be no reason for the commemoration of the genocide of the Jews to block out the memory of these millions of Africans or Native Americans killed by the civilized Western invaders of their continents. But there is no international day to mark the extermination of Native Americans or the Slave Trade, no date on which all countries are supposed to recall what the white man did to them, or to listen to the speeches in their honor.

Yet in 2005, sixty years on from its foundation by the victors of the Second World War, the UN General Assembly decided that from 2006 onward, January 27, the date of the liberation of Auschwitz, would be International Holocaust Remembrance Day. Britain and Italy had already established this as their national day of the Shoah, following the lead of Germany, which had chosen January 27 in 1996. The Jewish genocide has since had a universal place in Western culture, as if this narrative had been there from the start. Hollywood had said nothing about the killing of the Jews for many

Они постепенно обретали фиксированную форму под влиянием господствующей идеологии: структурированное повествование, во многом схожее с тем, что создавалось в Европе в течение последних двадцати лет. Новое предназначение европейской культуры Холокоста вызывает у меня, как и у других израильтян, определенное беспокойство — будь то отстранение Ливингстона по причинам, не имеющим отношения к геноциду, или большой марш в Париже, или роль истребления европейского еврейства в политической и культурной Европе. На престижных французских и немецких телеканалах Arte или 3Sat; в крупных европейских кинопроектах — обычно между Францией, Германией и Бельгией; в литературе о Второй мировой войне Освенцим повсюду; только Клод Ланцман мог поверить, что он и его фильм... *Шоа* являются причиной этого. Было бы легкомысленно рассматривать эту культуру увековечивания памяти как запоздалый кризис международного сознания или чувство исторической справедливости, которое потребовало времени для проявления, но теперь полностью признано; было бы также легкомысленно говорить о чувстве вины нового поколения, не объясняя, откуда эта вина берется.

Большинство членов Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций вышли из колониального прошлого: они являются потомками тех, кто пострадал от геноцида в Африке, Азии или Латинской Америке. Не должно быть никаких оснований для того, чтобы увековечивание памяти о геноциде евреев заслоняло память о миллионах африканцев или коренных американцев, убитых цивилизованными западными захватчиками на их континентах. Но нет международного дня, посвященного истреблению коренных американцев или работорговле, нет даты, когда все страны должны вспоминать о том, что белый человек сделал с ними, или слушать речи в их честь.

Однако в 2005 году, спустя шестьдесят лет после своего основания победителями Второй мировой войны, Генеральная Ассамблея ООН постановила, что с 2006 года 27 января, дата освобождения Освенцима, будет Международным днем памяти жертв Холокоста. Великобритания и Италия уже установили этот день в качестве своего национального дня памяти о Шоа, следуя примеру Германии, которая выбрала 27 января в 1996 году. С тех пор геноцид евреев занял универсальное место в западной культуре, как будто этот нарратив существовал с самого начала. Голливуд на протяжении многих лет ничего не говорил об убийстве евреев.

years. The Second World War was treated in bravura form, with successive waves of films on combat, romance, heroism, stories about prisoners and great escapes, episodes from the war in the Pacific (without a word on Hiroshima or Nagasaki, the two leading events in the logic of denial), and, from the 1970s on, comedy series. The break came in 1979 with the Hollywood-produced series *Holocaust*, which largely adopted the aesthetic of the war films. At around the same time, the decision was made to build a Holocaust Museum in Washington D.C.

What had kept the genocide out of sight or on the margins in the decades after the war, when its memory was the prerogative of escaped Jews, anti-Nazis and other victims? As Raul Hilberg has explained, the salvation of the Jews was not a priority for the Soviet Union, Britain or the United States. From 1941 to 1945, their attention was on the war itself, and on the respective spheres of influence they would enjoy once Germany surrendered. The territories behind enemy lines were analyzed first and foremost as sites of production, mobilization and supply: “The all too real decimation of populations under the rule of Germany and its partners was at best a secondary preoccupation.” In early 1944 a detailed report from Auschwitz was forwarded by the underground Polish resistance to the Office of Strategic Services, the War Department and the UN War Crimes Commission. In all three cases, the report was buried. According to Hilberg, “The Western Allies did not want their populations to think that they were fighting the war to save Judaism.” It was hard enough to explain to an American why we were fighting in Europe. Britain and the US were waging “a carefully controlled war, minimizing their losses and simplifying their public declarations. As a result of this attitude, the liberation of the Jews would be a by-product of victory.”³

These facts are well known and have been abundantly commented on in Jewish Israeli debates. This is one area where Jewish Israeli approaches and prevailing Western views do not coincide. For the West has avoided—and continues to avoid—the thorny question of how the Allied powers themselves, and above all the United States, treated Jewish refugees before, during and immediately after the Second World War. The glossing over of this

Годы. Вторая мировая война освещалась в блестящей форме, сменявшимися друг друга волнами фильмов о боевых действиях, романтике, героизме, историях о пленных и невероятных побегах, эпизодах войны на Тихом океане (ни слова о Хиросиме или Нагасаки, двух главных событиях в логике отрицания), а с 1970-х годов — комедийными сериалами. Переломный момент наступил в 1979 году с выходом голливудского сериала. *Холокост* в значительной степени переняв эстетику военных фильмов. Примерно в то же время было принято решение о строительстве Музея Холокоста в Вашингтоне.

Что удерживало геноцид в тени или на периферии в десятилетия после войны, когда память о нем была прерогативой бежавших евреев, антинацистов и других жертв? Как объяснил Рауль Хильберг, спасение евреев не было приоритетом для Советского Союза, Великобритании или Соединенных Штатов. С 1941 по 1945 год их внимание было сосредоточено на самой войне и на соответствующих сферах влияния, которые они получают после капитуляции Германии. Территории за линией фронта анализировались прежде всего как места производства, мобилизации и снабжения: «Довольно реальное истребление населения под властью Германии и ее партнеров было в лучшем случае второстепенной заботой». В начале 1944 года подробный доклад из Освенцима был направлен польским подпольным сопротивлением в Управление стратегических служб, Военное министерство и Комиссию ООН по военным преступлениям. Во всех трех случаях доклад был засекречен. По словам Хильберга, «западные союзники не хотели, чтобы их население думало, что они воюют за спасение иудаизма». И без того было трудно объяснить американцу, почему мы воюем в Европе. Великобритания и США вели «тщательно контролируемую войну, минимизируя потери и упрощая свои публичные заявления. В результате такого подхода освобождение евреев

Это будет побочным продуктом победы.³

Эти факты хорошо известны и широко обсуждались в еврейско-израильских дискуссиях. Это одна из областей, где еврейско-израильские подходы и преобладающие западные взгляды не совпадают. Запад избегал — и продолжает избегать — сложного вопроса о том, как сами союзные державы, и прежде всего Соединенные Штаты, обращались с еврейскими беженцами до, во время и сразу после Второй мировой войны. Замалчивание этого вопроса

aspect of the tragedy has been glossed over in the narrative constructed in recent decades and has resulted in the loss of a concrete dimension of these terrible events, which have been fused into a version that is totally alien to us Israeli Jews. In mainstream Western culture the Jewish genocide takes the form of a story that has always been told in this way. It seems to have come out of nowhere, but the narrative produces a sort of retrospective continuity, as if it had been in place since the event itself. The ruptures and changes in its telling are, generally speaking, ignored. It is the nature of every ideology to emphasize continuity, but what grates here is that the reality of Jewish history has been so distorted in this telling. It has become the narrative of national continuity which begins with the rise of Nazism, continues with the war and terminates in the construction of the memory of the (Jewish) victims.

In Europe, the Shoah has duly become the image of everything that the Europe of today is not: dictatorship, intolerance and hatred of Israel. Thanks to it, modern Europeans know what is their opposite. But why now? Why is it that, in the aftermath of the Nazi defeat, the genocide was only a reference point on which the victors could agree, whereas today it has become the symbol of the Second World War in its entirety—in the cinema, on television, in political clichés, school syllabuses and state celebrations. One answer is that during the unification of Europe, the genocide and the Jews served in the construction of a European identity. The European subject who, at an earlier epoch, had succeeded so well in differentiating himself from the Jew (“he is not like us”), is now eager to demonstrate how much he loves him: first because now “he is like us,” and second because he no longer lives here. This is a hypothesis which would have to be verified for every European state.

Displacing Horror

Ironically, Germany has donated the darkest chapter in its history to be the symbol of the new European identity: Holocaust Remembrance Day. It is worth returning to the choice of date, not only because Germany’s decision on this has been taken up by the other states, but also because it shows most clearly the process of

В повествовании последних десятилетий этот аспект трагедии был завуалирован, что привело к утрате конкретного измерения этих ужасных событий, которые слились в версию, совершенно чуждую нам, израильским евреям. В основной западной культуре геноцид евреев принимает форму истории, которая всегда рассказывалась именно так. Кажется, она возникла из ниоткуда, но повествование создает своего рода ретроспективную преемственность, как будто она существовала с самого события. Разрывы и изменения в ее изложении, как правило, игнорируются. Природа любой идеологии заключается в подчеркивании преемственности, но здесь раздражает то, что реальность еврейской истории настолько искажена в этом изложении. Оно превратилось в повествование о национальной преемственности, которое начинается с подъема нацизма, продолжается войной и заканчивается формированием памяти о (еврейских) жертвах.

В Европе Холокост стал олицетворением всего того, чем современная Европа не является: диктатуры, нетерпимости и ненависти к Израилю. Благодаря ему современные европейцы знают, что является их противоположностью. Но почему именно сейчас? Почему после поражения нацистов геноцид был лишь отправной точкой, по которой могли прийти к согласию победители, тогда как сегодня он стал символом Второй мировой войны во всей её полноте — в кино, на телевидении, в политических клише, школьных программах и государственных торжествах? Один из ответов заключается в том, что во время объединения Европы геноцид и евреи служили формированию европейской идентичности. Европейский субъект, который в более раннюю эпоху так хорошо сумел отделиться от еврея («он не такой, как мы»), теперь стремится продемонстрировать, как сильно он его любит: во-первых, потому что теперь «он такой, как мы», а во-вторых, потому что он больше здесь не живёт. Это гипотеза, которую необходимо проверить для каждого европейского государства.

Вытеснение ужаса

По иронии судьбы, Германия пожертвовала самую мрачную главу своей истории в качестве символа новой европейской идентичности: День памяти жертв Холокоста. Стоит вернуться к выбору даты не только потому, что решение Германии по этому вопросу было подхвачено другими государствами, но и потому, что оно наиболее наглядно демонстрирует процесс

amnesia through which remembrance constructs itself. Germany did not set a day to remember all Nazi crimes. It did not choose the day of Hitler's accession to power as the date for its official day of commemoration, or the day the anti-Jewish racial laws were passed, or November 9, the day the Nazis chose to unleash what they themselves called *Kristallnacht* and which for years was a non-official commemoration day for many parts of West German civil society—until it was replaced by the new official day. Nor did it choose the day Poland was invaded, signaling the start of the Second World War. Germany does not commemorate May 8 or 9, the date of the fall of the Reich. Why exactly has it chosen January 27, the day of the liberation of Auschwitz?

The German Federal Republic was not, of course, born anew in "Year Zero." As many have pointed out, its judiciary included many magistrates who had served under Hitler. The postwar ban on Nazi Party members working as civil servants was quickly rendered meaningless under American influence. The appointment of Hans Globke—a jurist who had assisted with the Nuremberg Laws and anti-Semitic legislation in the Nazi-occupied territories—as Adenauer's Under Secretary of State and chief of personnel for the West German Chancellery from 1953 to 1963, on the grounds that he was not formally an NSDAP member, was only the most blatant symbol of continuity during those years.⁴ The German economic elite that had provided the material infrastructure for the genocide also remained in place. In the postwar period, soldiers who had deserted the Nazi Wehrmacht received no pension; those who had served in the SS did. In lieu of any official self-examination, the German state has preferred to elide all the questions arising from the Nazi period into that of Auschwitz. No political price would then need to be paid by the Globkes, the Krupps, IG Farben and the SS pensioners; nor would any compensation be paid to those who did resist. Remembered only as the Holocaust, the past now consists solely of victims—the Jewish people—and executioners, the Germans of the past.

This process reached its apotheosis in the aftermath of German reunification. As a stable republic, solidly established within an institutionalized Europe, Germany moved to complete the

Амнезия, посредством которой формируется воспоминание. Германия не устанавливала день памяти обо всех преступлениях нацистов. Она не выбирала день прихода Гитлера к власти в качестве официального дня памяти, или день принятия антиеврейских расовых законов, или 9 ноября, день, который нацисты решили развязать то, что они сами называли *Хрустальная ночь*. Этот день на протяжении многих лет был неофициальным днем памяти для многих слоев западногерманского гражданского общества — пока его не заменили новым официальным днем. Германия также не выбрала день вторжения в Польшу, ознаменовавшего начало Второй мировой войны. Германия не отмечает 8 или 9 мая, дату падения Рейха. Почему же она выбрала 27 января, день освобождения Освенцима?

Федеративная Республика Германия, конечно, не возродилась заново в «нулевой год». Как многие отмечали, в её судебной системе было много судей, служивших при Гитлере. Послевоенный запрет на работу членов нацистской партии на государственных должностях быстро утратил свою актуальность под американским влиянием. Назначение Ханса Глобке — юриста, участвовавшего в разработке Нюрнбергских законов и антисемитского законодательства на оккупированных нацистами территориях, — заместителем государственного секретаря и начальником кадрового отдела канцелярии Западной Германии при Аденауэре с 1953 по 1963 год на том основании, что он формально не был членом НСДАП, было лишь самым вопиющим примером.

символ преемственности в те годы.⁴Немецкая экономическая элита, обеспечивавшая материальную инфраструктуру для геноцида, также осталась на своих местах. В послевоенный период солдаты, дезертировавшие из нацистского вермахта, не получали пенсий; пенсии получали те, кто служил в СС. Вместо официального самоанализа немецкое государство предпочло свести все вопросы, возникающие в период нацизма, к вопросу об Освенциме. Тогда не пришлось бы платить никакой политической цены ни компаниям «Глобке», «Крупп», IG Farben, ни пенсионерам СС; не было бы никакой компенсации тем, кто сопротивлялся. Запомнившееся лишь как Холокост, прошлое теперь состоит исключительно из жертв — еврейского народа — и палачей, немцев прошлого.

Этот процесс достиг своего апогея после воссоединения Германии. Будучи стабильной республикой, прочно утвердившейся в рамках институционализированной Европы, Германия приступила к завершению процесса воссоединения.

reconstruction of the past: transforming the memory of Nazism into that of the genocide, and the genocide into remembrance of the Holocaust. Over 8 million Soviet soldiers were killed in the fight against Nazi Germany; some 16 million Soviet citizens are estimated to have died overall during the Second World War, many of them civilians from Ukraine or what is now Belarus. Official remembrance of those deaths seems set to follow the USSR into oblivion; there is scant place for them on Holocaust Day. The same question might be asked of the vast monument to the Jews constructed in the center of Berlin: Would it not count for more if the tens of millions of non-Jews who perished were also honored, in due proportion? Are their deaths of less significance than the others?

Again, why choose Auschwitz in particular; why not Bergen-Belsen, for example, which is at least in Germany? Even if the worst atrocities were concentrated in the former camp, doesn't the choice of site nevertheless repeat what the Nazis' did—relegating the horror to “over there,” outside the homeland, far away to the east among the “inferior Slavs?” (The school trips to Poland organized by Israel's Ministry of Education also serve to relegate the Jewish genocide to the margins of Europe; it is harder to imagine these visits taking place in Dachau, Bergen-Belsen or Buchenwald, in the heart of Germany.) Lanzmann's *Shoah* participates in the same distancing process: the horror took place in the east.

Another feature of the new philosemitism is the attempt to forge a German “Judeo-Christian” identity. A few years ago the tabloid *Berliner Zeitung* frontpaged a story on September 11, 2004 about a mass Evangelical Christian pray-in at the Brandenburg Gate, with the blue-and-white of Israel's flag prominently displayed across the center of the layout. The German mass media determinedly attach Israeli images in this way as if offering a humanist guarantee of “the other.” What could be more convenient for the representatives of German culture, whether Christian, Liberal, Green or Social Democrat, in the city with one of the highest Muslim populations in Europe—and a country in which racist attacks on them are on the rise—than the symbol of Jewish, that is, Israeli, “Otherness,” precisely on the occasion of a Christian gathering? The Israeli flag, like the Berlin streets named after Yitzhak Rabin and Ben Gurion,

Реконструкция прошлого: превращение памяти о нацизме в память о геноциде, а геноцида — в память о Холокосте. Более 8 миллионов советских солдат погибли в борьбе против нацистской Германии; по оценкам, в общей сложности во время Второй мировой войны погибло около 16 миллионов советских граждан, многие из которых были мирными жителями Украины или территории современной Беларуси. Официальное увековечивание памяти об этих смертях, похоже, последует за СССР в забвение; им почти не место в День Холокоста. Тот же вопрос можно задать и в отношении огромного памятника евреям, воздвигнутого в центре Берлина: разве не было бы больше значения, если бы десятки миллионов неевреев, погибших в результате трагедии, также были бы почтены в должной пропорции? Разве их смерти менее значимы, чем смерти других?

Опять же, почему именно Освенцим был выбран; почему не Берген-Бельзен, например, который, по крайней мере, находится в Германии? Даже если самые ужасные зверства были сосредоточены в первом лагере, разве выбор места не повторяет того, что делали нацисты — переместили ужас «туда», за пределы родины, далеко на восток, к «низшим славянам»? (Школьные поездки в Польшу, организованные Министерством образования Израиля, также способствуют перемещению еврейского геноцида на периферию Европы; труднее представить, чтобы подобные визиты проходили в Дахау, Берген-Бельзене или Бухенвальде, в самом сердце Германии.) Ланцманн *Шоа* участвует в том же процессе дистанцирования: ужас произошел на востоке.

Еще одной чертой нового филосемитизма является попытка сформировать немецкую «иудео-христианскую» идентичность. Несколько лет назад таблоид... *Berliner Zeitung* На первой полосе газеты 11 сентября 2004 года была опубликована статья о массовой молитве евангелических христиан у Бранденбургских ворот, на которой в центре изображения prominently красовался сине-белый флаг Израиля. Немецкие СМИ целенаправленно используют израильские образы таким образом, как будто предлагая гуманистическую гарантию «другого». Что может быть удобнее для представителей немецкой культуры, будь то христиане, либералы, зеленые или социал-демократы, в городе с одним из самых больших мусульманских населений в Европе — и в стране, где участились расистские нападения на них, — чем символ еврейской, то есть израильской, «инаковости» именно по случаю христианского собрания? Израильский флаг, как и берлинские улицы, названные в честь Ицхака Рабина и Бен-Гуриона,

become symbols through which German identity is thought. The bogus Judeo-Christian tradition does not correspond to any concrete history; it is an ideological invention invoked against Islam, in which the Jew plays the role of the imaginary other.

In Berlin, the culture of philosemitism takes on a particularly frenetic character. A whole array of (Ashkenazi) Jewish folklore is on offer: exhibitions on Orthodox Judaism, performances of klezmer or Hassidic music and dance. In this respect, the Germans differ from other Europeans, but only in degree; in a large part of Western Europe, the violence directed toward the Other hides itself behind this need for an Other who is like us. This is another effect of the reduction of the Nazi experience to remembrance of the Jewish genocide: this newly constructed past—the Jew as absolute victim—serves as a cover for a new Islamophobia that cannot but recall attitudes that Europe once had toward the Jews: Muslims must modernize, they must become “like everyone else,” in other words, like Europeans.

These developments need to be historicized. In the 1970s, young Germans could wear the *keffiyeh* as a mark of solidarity with the Palestinians without being accused of anti-Semitism or revisionism; the Left could pledge its support for the Palestinians—unlike its heirs, the Greens, who are always the first to speak up in favor of Israel. What is more, in Western European countries where there is no real reason for any feelings of guilt, the Jewish genocide plays a similar role, and encourages the development of a sense of guilt in relation to Israel, represented as the homeland of genocide survivors, just as it does in Germany.

Mussolini's Shadow

An example from Italy: defending his decision to send troops to support the Anglo-American invasion of Iraq in the context of massive domestic opposition, Berlusconi made a moral distinction between Mussolini and Saddam—the former, he explained, was not a murderer. Unsurprisingly this created a scandal and the prime minister hastily had to apologize for his blunder. To whom did he do so? Italy's Jewish community—and not without good reason: It was

становятся символами, посредством которых осмысливается немецкая идентичность. Ложная иудео-христианская традиция не соответствует никакой конкретной истории; это идеологическое изобретение, используемое против ислама, в котором еврей играет роль воображаемого другого.

В Берлине культура филосемитизма приобретает особенно неистовый характер. Предлагается целый ряд (ашкеназского) еврейского фольклора: выставки, посвященные ортодоксальному иудаизму, выступления с клезмерской или хасидской музыкой и танцами. В этом отношении немцы отличаются от других европейцев, но лишь в степени; в значительной части Западной Европы насилие, направленное против Другого, скрывается за этой потребностью в Другом, подобном нам. Это еще один эффект сведения нацистского опыта к воспоминаниям о геноциде евреев: это вновь сконструированное прошлое — еврей как абсолютная жертва — служит прикрытием для новой исламофобии, которая не может не напоминать о некогда существовавшем в Европе отношении к евреям: мусульмане должны модернизироваться, они должны стать «как все остальные», другими словами, как европейцы.

Эти события необходимо рассматривать в историческом контексте. В 1970-х годах молодые немцы могли носить...*куфия*В знак солидарности с палестинцами, не опасаясь обвинений в антисемитизме или ревизионизме, левые могли заявить о своей поддержке палестинцев — в отличие от своих наследников, «зеленых», которые всегда первыми выступают в защиту Израиля. Более того, в странах Западной Европы, где нет реальных оснований для чувства вины, геноцид евреев играет аналогичную роль и способствует развитию чувства вины по отношению к Израилю, представленному как родина переживших геноцид, как это происходит и в Германии.

Тень Муссолини

Пример из Италии: защищая свое решение отправить войска на поддержку англо-американского вторжения в Ирак в условиях массового внутреннего сопротивления, Берлускони провел моральное различие между Муссолини и Саддамом — первый, объяснил он, не был убийцей. Неудивительно, что это вызвало скандал, и премьер-министру пришлось поспешно извиниться за свою ошибку. Перед кем он это сделал? Перед еврейской общиной Италии — и не без оснований: это было

Mussolini who passed the anti-Semitic discrimination laws and under his rule that the Jews were killed for their ethnic origins. But Berlusconi's apology said much about the memory wars that are being played out in Italian political and cultural circles. In a single political gesture, the fact that tens of thousands had been imprisoned, tortured or killed for having fought against fascism was swept aside. Berlusconi had nothing to say about the horrors of the Salò Republic or the invasion of Ethiopia and the use of poison gas against its population. With the collapse of the postwar order at the beginning of the 1990s, the old way of remembering these events is no longer operational. Instead, the conflicts of the past are covered up by recourse to the memory of the Jewish genocide. Again, this is a new culture, flourishing in a country which, in contrast to Germany, had never repressed the memory of the Second World War or the extermination of the Jews. This is why it is simpler in Italy than elsewhere to trace how "Holocaust Remembrance" has eclipsed the living memory of the past.

In 1945, the young Italian cinema announced its presence with Rossellini's *Rome, Open City*; in the 1970s, Visconti's *The Damned*, Cavani's *The Night Porter* and Pasolini's *Pigsty* and *Salò, or the 120 Days of Sodom* all dealt uncompromisingly with the fascist period; Jewish writers like Giorgio Bassani and Primo Levi described the realities of the Shoah. There were no "psychological problems" about expressing support for the Palestinians on the part of either the Catholic Church, which maintained a wide network in the Arab countries, or the Italian Communist Party (PCI), which supported the Palestinian cause against the Israeli occupation, or the broader Italian Left, which has never had an anti-Semitic culture. Yet Italy—both Berlusconi and his neo-fascist allies, and the former PCI—not only turned pro-Israel at the beginning of the 1990s, but has abandoned its basic understanding of the Second World War in order to reduce the whole experience to the Holocaust. Gianfranco Fini, the far-right leader (who regarded himself as an heir to Mussolini), has excellent relations with the Israeli government.

With the fall of Communism, the unification of Europe and the transformation of its economies, the existing friend–enemy structure was swept away. Up to 1989, each side had an opponent against

Муссолини, принявший законы о борьбе с антисемитизмом и при правлении убивавший евреев за их этническое происхождение, — вот что многое говорит об этих войнах памяти, разворачивающихся в итальянских политических и культурных кругах. Одним политическим жестом был замалчен тот факт, что десятки тысяч людей были заключены в тюрьму, подвергнуты пыткам или убиты за борьбу против фашизма. Берлускони ничего не сказал об ужасах Салоской республики или вторжении в Эфиопию и применении отравляющего газа против её населения. С крахом послевоенного порядка в начале 1990-х годов старый способ запоминания этих событий перестал работать. Вместо этого конфликты прошлого замалчиваются с помощью памяти о геноциде евреев. И снова это новая культура, процветающая в стране, которая, в отличие от Германии, никогда не подавляла память о Второй мировой войне или истреблении евреев. Именно поэтому в Италии проще, чем где бы то ни было, проследить, как «память о Холокосте» затмила живую память о прошлом.

В 1945 году молодое итальянское кино заявило о себе фильмом Росселлини *Рим, Открытый город*; в 1970-х годах Висконти *Проклятые Кавани* *Ночной портье* и Пазолини *Свинарники Сало, или 120 дней Содома*. Все они бескомпромиссно освещали фашистский период; еврейские писатели, такие как Джорджо Бассани и Примо Леви, описывали реалии Холокоста. Не было никаких «психологических проблем» в выражении поддержки палестинцам ни со стороны Католической церкви, имевшей широкую сеть в арабских странах, ни со стороны Итальянской коммунистической партии (ПКП), поддерживавшей палестинское дело против израильской оккупации, ни со стороны более широкого итальянского левого движения, в котором никогда не было антисемитской культуры. Тем не менее, Италия — и Берлускони с его неофашистскими союзниками, и бывшая ПКП — не только стала произраильской в начале 1990-х годов, но и отказалась от своего базового понимания Второй мировой войны, чтобы свести весь опыт к Холокосту. Джанфранко Фини, лидер крайне правых (считавший себя наследником Муссолини), поддерживает прекрасные отношения с израильским правительством.

С падением коммунизма, объединением Европы и трансформацией её экономики существовавшая структура «друг-враг» была сметена. До 1989 года у каждой стороны был противник.

which to unite: for the right, communist totalitarianism; for the left, capitalist exploitation. In the new moral universe of the “end of history,” there was one abomination—the Jewish genocide—that all could unite to condemn; equally important, it was now firmly in the past. For the new Europe, the commemoration of the Jewish genocide would serve both to sacralize the new Europe’s liberal-humanist tolerance of “the Other (who is like us)” and to redefine “the Other (who is different from us)” in terms of Muslim fundamentalism.

Ideology of Exclusion

Speaking of the social explosions in the French *banlieues* in the autumn of 2005, Alain Finkielkraut explained to *Haaretz* that the riots were directed “against France as the old colonial power, against France as a European country, against France and its Christian or Judeo-Christian tradition.” The philosopher went on to complain that France had made too many concessions to the demands of its former colonial subjects. The teaching of colonial history and slavery in French schools concentrated too much on negative aspects, without explaining that the colonial project also brought education and culture, and without stressing the positive role played by Europe and the US in abolishing slavery. Most meretricious of all, according to Finkielkraut, was any suggestion that the Shoah and the slave trade could be put on the same level.

For Finkielkraut, as for the majority of the West’s contemporary political leaders and opinion makers, this is where the Jewish genocide plays its part. The Holocaust alone can provide the definition of evil. The great advantage of this is that the Holocaust took place in the past and is now over; we can congratulate ourselves on having awoken from a nightmare. But the other evils are still lurking there. The universal dimension of the genocide is projected to overshadow the victims of colonialism and slavery, who have received no compensation remotely comparable to the sums paid to the Israeli state, nor even had the fortune of being recognized, precisely because they are still living in devastated countries or miserable neighborhoods, under occupation or

Что же объединить: для правых — коммунистический тоталитаризм; для левых — капиталистическую эксплуатацию? В новой моральной вселенной «конца истории» существовало одно чудовищное злодеяние — геноцид евреев, — которое все могли осудить сообща; не менее важно, что теперь оно прочно осталось в прошлом. Для новой Европы увековечивание памяти о геноциде евреев послужило бы как сакрализации либерально-гуманистической терпимости новой Европы к «Другому (который похож на нас)», так и переопределению «Другого (который отличается от нас)» в терминах мусульманского фундаментализма.

Идеология исключения

Говоря о социальных взрывах во Франции *пригороды* Осенью 2005 года Ален Финкелькраут объяснил... *Хаарец* философ утверждал, что беспорядки были направлены «против Франции как старой колониальной державы, против Франции как европейской страны, против Франции и её христианской или иудео-христианской традиции». Далее он жаловался на то, что Франция пошла на слишком много уступок требованиям своих бывших колониальных подданных. Преподавание колониальной истории и рабства во французских школах слишком концентрировалось на негативных аспектах, не объясняя, что колониальный проект также принёс образование и культуру, и не подчёркивая позитивную роль Европы и США в отмене рабства. Самым лицемерным, по мнению Финкелькраута, было любое предположение о том, что Холокост и работорговля могут быть поставлены на один уровень.

Для Финкелькраута, как и для большинства современных западных политических лидеров и влиятельных лиц, именно здесь вступает в игру геноцид евреев. Один только Холокост может дать определение злу. Главное преимущество этого в том, что Холокост произошел в прошлом и теперь закончился; мы можем поздравить себя с тем, что проснулись от кошмара. Но другие виды зла все еще таятся там. Универсальный масштаб геноцида, как предполагается, затмевает жертв колониализма и рабства, которые не получили никакой компенсации, даже отдаленно сравнимой с суммами, выплаченными израильскому государству, и даже не имели возможности быть признанными, именно потому, что они все еще живут в опустошенных странах или нищих районах, под оккупацией или

oppression; situations which have never ceased to exist but whose moral claims must be rejected. As Finkelkraut told *Haaretz* readers:

The generous notion of the struggle against racism has been terribly transformed, into a false ideology. Anti-racism will be to the 21st century what Communism was to the 20th: a source of violence. It is in the name of the fight against racism that Jews are attacked today: the Separation Wall and Zionism are portrayed as racism. This is what is going on in France—we ought to be very wary of the ideology of anti-racism.

These words came as a shock to some, not least in Israel; but those who have read Finkelkraut's 2003 essay, "In the Name of the Other: Reflections on the Coming Anti-Semitism," should not be surprised. Here he explains that:

With time, the memory of Auschwitz has not faded but, on the contrary, been enriched [*incrusté*]. The event which bears its name, as François Furet rightly wrote, "has become ever more significant as the negative accompaniment of the democratic conscience and the incarnation of evil which leads to its negation."⁵

Finkelkraut duly differentiates between the Western democracies and their Holocaust remembrance, on the one hand, and the "continuers of Auschwitz," the non-democratic regimes, on the other. Democratic man, he goes on—"the man of the Rights of Man"—is "man as such," considered in abstraction from his social, national or racial origins. It is for this reason that America "felt authorized to build a Holocaust Museum in the heart of its capital, and to make this museum a national reference point." Within the new narrative thus formed, the Jews and their history constitute the unique test for human freedom; the democracies of both Europe and America "recharge their common principles in the commemoration of the Shoah."

On this basis, it becomes possible to level the charge of anti-Semitism against anyone who criticizes the US or Israel for the treatment of the Palestinian people. This is not really about perpetuating the memory of the genocide but about consolidating a new ideology of exclusion. Now it is the Jews who are the insiders. What our leaders asked for, it seems, was not the Rights of Man, but the right to belong to the elite. We can now participate in violating the rights of others.

угнетение; ситуации, которые никогда не переставали существовать, но чьи моральные требования должны быть отвергнуты. Как сказал Финкелькраут. *Хаарец* читатели:

Благородное представление о борьбе с расизмом ужасно трансформировалось в ложную идеологию. Антирасизм станет для XXI века тем же, чем коммунизм для XX: источником насилия. Именно во имя борьбы с расизмом сегодня подвергаются нападкам евреи: разделительная стена и сионизм изображаются как расизм. Именно это происходит во Франции — нам следует с большой осторожностью относиться к идеологии антирасизма.

Эти слова стали шоком для некоторых, особенно в Израиле; но те, кто читал эссе Финкелькраута 2003 года «Во имя другого: размышления о грядущем антисемитизме», не должны удивляться. Здесь он объясняет, что:

Со временем память об Освенциме не померкла, а, наоборот, обогатилась. *инкрустация* Событие, носящее это имя, как справедливо писал Франсуа Фюре, «приобрело все большее значение как негативное сопровождение демократии». совесть и воплощение зла, ведущее к её отрицанию.⁵

Финкелькраут должным образом различает западные демократии и их память о Холокосте, с одной стороны, и «продолжающих Освенцим», недемократические режимы, с другой. Демократический человек, продолжает он, — «человек прав человека» — это «человек как таковой», рассматриваемый в отрыве от его социального, национального или расового происхождения. Именно по этой причине Америка «сочла себя вправе построить Музей Холокоста в самом центре своей столицы и сделать этот музей национальным ориентиром». В рамках нового сформированного таким образом повествования евреи и их история представляют собой уникальное испытание человеческой свободы; демократии Европы и Америки «возрождают свои общие принципы в памяти о Шоа».

На этом основании становится возможным выдвинуть обвинение в антисемитизме против любого, кто критикует США или Израиль за обращение с палестинским народом. Речь идёт не столько о сохранении памяти о геноциде, сколько о консолидации новой идеологии исключения. Теперь евреи стали «своими». Похоже, наши лидеры требовали не прав человека, а права принадлежать к элите. Теперь мы можем участвовать в нарушении прав других.

2

The right of Return (of the Colonial): On the Role of the “Peace Camp” and its French Sponsors

Relations with the Public

Never look down on intellectuals. They can evoke the (irrelevant) past when the present is under scrutiny, they can compete with the most horrible injustice by talking about justice, they can use the genocide of European Jews—insisting on its Hebrew name *Shoah*—even when the destruction of Palestinian national life is being carried out before our eyes. Not all intellectuals are able to do this, and it is not just for reasons of integrity, or humility, but also because of factors related to public relations—in other words what becomes, through the media, the “public”—and the intellectuals’ relations with it. Nothing would have helped Israel to present what it did to Lebanon (and to its own people) during the summer of 2006, after two soldiers were abducted from Israeli territory, as just, had words such as “justice” not been swarming out of such intellectuals’ mouths. This is how the Israeli occupation of the very last remaining Palestinian territories became part of an alleged “Justice versus Justice” debate (Amos Oz: “in other words a conflict between two

2

Право на возвращение (колониального периода): О ТОТ Роль «Лагеря мира» и его французов. Спонсоры

Отношения с общественностью

Никогда не смотрите свысока на интеллектуалов. Они могут апеллировать к (несущественному) прошлому, когда настоящее подвергается пристальному вниманию, они могут противостоять самой ужасной несправедливости, говоря о справедливости, они могут использовать геноцид европейских евреев, настаивая на его еврейском названии. *Шоа*— даже когда разрушение палестинской национальной жизни происходит на наших глазах. Не все интеллектуалы способны на это, и дело не только в честности или скромности, но и в факторах, связанных с общественным мнением — иными словами, с тем, что через СМИ становится «общественностью», — и отношениями интеллектуалов с ней. Ничто не помогло бы Израилю представить то, что он сделал с Ливаном (и со своим собственным народом) летом 2006 года, после похищения двух солдат с израильской территории, как справедливое, если бы слова вроде «справедливость» не сыпались из уст таких интеллектуалов. Именно так израильская оккупация последних оставшихся палестинских территорий стала частью так называемых дебатов «Справедливость против справедливости» (Амос Оз: «иными словами, конфликт между двумя

causes where both are as just, one as the other”). The longest-lasting occupation since the Second World War, subjected to no rule of law but the law of the mighty, slicing the occupied territories into ghettos where soldiers can do almost anything, anywhere, any time—nothing would have made it possible to turn all this into an issue of “Justice versus Justice,” had it not been for these intellectuals in the service of power.

Was the filmmaker Claude Lanzmann lying when he wrote this in *Le Monde*, on March 7, 2001, about the Palestinians?

They have autonomous territories, an armed police force, weapons are everywhere; behind the rock throwers—the young boys on the front line—there are the masked and equipped Tanzim of Fatah.¹

I am not sure, because I do not know what he really knew. He tried to depict something which did not correspond to anything but rhetoric. Where did that representation (“They have autonomous territories, an armed police force”) come from? From Israeli propaganda. In fact, a few months before, the novelist A. B. Yehoshua had described the Palestinian good life in exactly the same way, as we shall see. But my point is not the lies, or the chauvinism, or the lack of human compassion, or intellectual integrity. What I want to underline is the very reproduction of something that seems “obvious”—with the help of a certain type of intellectual. The Palestinians were armed. Yes, that is not a lie. While I am writing these lines, they are still armed (“an armed police force”). But armed with what? With F16s? With tanks? With batteries of cannons? With helicopters? With infra-red screens on their helmets? With electronic devices? No, they have none of those. But here is the key point: “They have autonomous territories, an armed police force.” Dear reader, do not look down on intellectuals. Their words have an aura of Truth, and their truth is made of words, and these words are cheap, very cheap: “behind the rock throwers—the young boys on the front line.” Those children, who were born under the occupation, living in fear, with memories of soldiers breaking into their houses at night, with memories of fathers—also born during

«Дела, где оба одинаково справедливы, одно так же, как и другое». Самая продолжительная оккупация со времен Второй мировой войны, не подчинявшаяся никакому верховенству права, кроме закона могущественных, разделившая оккупированные территории на гетто, где солдаты могут делать почти все, где угодно и когда угодно.

— Ничто не позволило бы превратить всё это в вопрос «Справедливость против справедливости», если бы не эти интеллектуалы, служащие власти.

Лгал ли режиссер Клод Ланцман, когда писал это? *Le Monde* 7 марта 2001 года, о палестинцах?

У них есть автономные территории, вооруженная полиция, оружие повсюду; за метателями камней — молодыми парнями на передовой — стоят люди в масках и оснащенные Танзимы Фатха.¹

Я не уверен, потому что не знаю, что он на самом деле знал. Он пытался изобразить нечто, что не соответствовало ничему, кроме риторики. Откуда взялось это представление («У них автономные территории, вооруженная полиция»)? Из израильской пропаганды. На самом деле, за несколько месяцев до этого писатель А. Б. Йехошуа описал благополучную жизнь палестинцев точно так же, как мы увидим. Но я хочу подчеркнуть не ложь, не шовинизм, не отсутствие человеческого сострадания и не интеллектуальную честность. Я хочу подчеркнуть само воспроизведение чего-то, что кажется «очевидным», — с помощью определенного типа интеллектуалов. Палестинцы были вооружены. Да, это не ложь. Пока я пишу эти строки, они все еще вооружены («вооруженная полиция»). Но чем они вооружены? Истребителями F-16? Танками? Батарейными батареями? Вертолетами? Инфракрасными экранами на шлемах? Электронными устройствами? Нет, у них ничего этого нет. Но вот ключевой момент: «У них есть автономные территории, вооруженная полиция». Дорогой читатель, не стоит пренебрежительно относиться к интеллектуалам. В их словах есть аура правды, и эта правда состоит из слов, а слова — дешевые, очень дешевые: «за метателями камней — молодые парни на передовой». Те дети, которые родились под оккупацией, жили в страхе, с воспоминаниями о солдатах, врывающихся в их дома по ночам, с воспоминаниями об отцах — тоже родившихся в то время.

that forty-year-old occupation—being made to strip at the roadblock, memories of mothers screaming with fear, babies who never saw anything but armored trucks near home—yet “They have autonomous territories.” Do not look down on intellectuals. They have the power to construct a Truth.

So, when Lanzmann, the expert on memory who, indeed, claims a monopoly on memory, talks with such arrogance (how many Frenchmen experienced such an occupation during the Second World War? And for how long?), one has to ask what was not said, and yet was part of the discourse. What was not said was an idea that has coexisted with Western culture for many years: “They are not human beings.” It does not matter what the present justification might happen to be for that maxim: belief in Allah and Muhammad or the fact that “they are all terrorists.” They are always suspected of being “too different from us.”

Therefore my concern is not a “conspiracy,” or lies concocted by intellectuals working on behalf of power, but rather Israel as a state with very good public relations. Yes, we all know it. When we tot up the balance sheet, after all the moaning and whining about “new anti-Semitism” and the anti-Israeli media, Westerners remember the victims of every suicide bombing in Jerusalem or in Tel Aviv, as if they were nice Parisians or New Yorkers, far better than they remember all the horrors seen on TV of the rivers of blood in Palestine, in Iraq, in Lebanon. Israeli victims—that is, Jewish victims—are never taken for granted, in the manner of Arabs, Africans, or Asians. A Palestinian girl shot in the head by an Israeli soldier remains an unknown victim, while the Israeli girl shot by a Palestinian terrorist is remembered. The same goes for the prisoners: We Israeli Jews all know the names of the handful of Israeli prisoners, as do many people in the West, and, if not their names, at least their tribulations, their tragedy. But the Lebanese and Palestinians who rot in Israeli jails and in detention camps for years are unknown, and are never part of the “problem” unless there is a kidnapping of an Israeli soldier in an attempt to release them. It is not even a matter of memory. You do not have to remember seasonal rains, only a disastrous flood. Their deaths are like rain; our death is the disaster.

M. Lanzmann is one of these intellectuals. And he deserves admiration for his talents.

Эта сорокалетняя оккупация — раздевание на блокпосту, воспоминания о кричащих от страха матерях, младенцах, которые видели возле дома только бронированные грузовики — и все же «У них есть автономные территории». Не стоит презирать интеллектуалов. Они обладают силой создавать Истину.

Итак, когда Ланцман, эксперт по памяти, который, по сути, претендует на монополию на эту тему, говорит с такой высокомерностью (сколько французов пережили подобную оккупацию во время Второй мировой войны? И как долго?), возникает вопрос: что же осталось недосказанным, но всё же стало частью дискуссии? Не было сказано об идее, которая много лет сосуществует с западной культурой: «Они не люди». Неважно, какое оправдание может быть у этого утверждения в настоящее время: вера в Аллаха и Мухаммеда или тот факт, что «все они террористы». Их всегда подозревают в том, что они «слишком отличаются от нас».

Поэтому меня беспокоит не «заговор» или ложь, сфабрикованная интеллектуалами, работающими на власть, а скорее Израиль как государство с очень хорошими связями с общественностью. Да, мы все это знаем.

Когда мы подводим итоги, после всех жалоб и нытья о «новом антисемитизме» и антиизраильских СМИ, западные люди помнят жертв каждого теракта смертника в Иерусалиме или Тель-Авиве так, как будто это были приятные парижане или ньюйоркцы, гораздо лучше, чем все ужасы, показанные по телевизору, — реки крови в Палестине, Ираке, Ливане. Израильские жертвы — то есть еврейские жертвы.

— никогда не воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, в отличие от арабов, африканцев или азиатов. Палестинская девочка, застреленная в голову израильским солдатом, остается неизвестной жертвой, в то время как израильская девочка, застреленная палестинским террористом, остается в памяти. То же самое относится и к заключенным: мы, израильские евреи, все знаем имена горстки израильских заключенных, как и многие люди на Западе, и, если не их имена, то хотя бы их страдания, их трагедию. Но ливанцы и палестинцы, которые годами гниют в израильских тюрьмах и лагерях для задержанных, неизвестны и никогда не являются частью «проблемы», если только не происходит похищение израильского солдата в попытке освободить их. Это даже не вопрос памяти. Не нужно помнить сезонные дожди, достаточно помнить о катастрофическом наводнении. Их смерть подобна дождю; наша смерть — это Катастрофа.

М. Ланцманн — один из таких интеллектуалов. И он заслуживает восхищения за свой талант.

What Do You Remember about Autumn 2000?

There is a simple test to prove my claim: examining what for the West was “obvious” about the start of the intifada in the fall of 2000. What I wish to show is the role played by the Zionist left in cementing the anti-Palestinian public perception so common today. I know it was not only their doing. It is the way of the world. Most people hate losers, detest the weak, identify with the mighty. But they also need, in our “enlightened era,” to be just, to have a “secular God” on their side. This is exactly where what is called in France “the Israeli Peace Camp” played such an important role.

I prefer to begin with the role David Grossman played, carefully, almost shyly, yet always willing to obey Israeli interpellations. Here is an article Grossman wrote right at the beginning of the second intifada. This is how Grossman obeyed the call for pro-Israeli writing abroad:

True, there is no symmetry between the concessions the two sides can make. Israel holds almost all the cards, while the Palestinians have more restricted options. Nevertheless, there is no escaping the sense that Arafat was the less bold, less creative, and more stubborn of the two leaders.²

During the same period, Amos Oz was far more aggressive. The meanings he reproduced during those months have since prevailed in the West. Is it thanks to Oz’s role in Israeli propaganda, because he was the most diligent writer for the State of Israel? It does not really matter now. Here is what he wrote on October 13, 2000. This would quickly become the official version of the events that led to the intifada, a version which holds firm to this very day.

Ehud Barak stretched this volatile new tide in Israel to its limits when he offered, in Camp David, to give the Palestinians more than 90% of the West Bank and to

Что вы помните об осени 2000 года?

Существует простой тест, подтверждающий мое утверждение: необходимо проанализировать, что для Запада было «очевидным» в начале интифады осенью 2000 года. Я хочу показать роль, которую сыграли сионистские левые в укреплении столь распространенного сегодня антипалестинского общественного мнения. Я знаю, что это не только их заслуга. Таков порядок вещей. Большинство людей ненавидят неудачников, презирают слабых, отождествляют себя с сильными. Но в нашу «просвещенную эпоху» им также необходимо быть справедливыми, иметь «светского Бога» на своей стороне. Именно здесь так важную роль сыграл так называемый во Франции «израильский лагерь мира».

Я предпочитаю начать с роли, которую сыграл Давид Гроссман, осторожно, почти застенчиво, но всегда готовый подчиниться израильским запросам. Вот статья, написанная Гроссманом в самом начале второй интифады. Вот как Гроссман откликнулся на призыв к произраильской публицистике за рубежом:

Действительно, нет никакой симметрии в уступках, на которые могут пойти обе стороны. Израиль держит в своих руках почти все козыри, в то время как у палестинцев выбор более ограничен. Тем не менее, нельзя избежать ощущения, что Арафат был менее смелым, менее креативный и более упрямый из двух лидеров.[2](#)

В тот же период Амос Оз был гораздо агрессивнее. Смысл его высказываний, воспроизведенный в те месяцы, с тех пор возобладал на Западе. Возможно, это благодаря роли Оза в израильской пропаганде, потому что он был самым усердным автором для Государства Израиль? Сейчас это уже не имеет значения. Вот что он написал 13 октября 2000 года. Это быстро стало официальной версией событий, приведших к интифаде, версией, которая остается таковой и по сей день.

Эхуд Барак довел эту новую, нестабильную ситуацию в Израиле до предела, когда в Кэмп-Дэвиде предложил палестинцам более 90% Западного берега и...

recognise a Palestinian state with East Jerusalem as its capital city. He even agreed, with clenched teeth, that the disputed holy places in Jerusalem would go under Muslim custody.

To no avail. Yasser Arafat returned from Camp David back in August calling himself the new Saladin. Palestinian press and media immediately began to beat the drums of a holy war against the Jews, “for the redemption of the holy places.”

Mr Arafat is a colossal tragedy for both peoples. He has allowed the newly created Palestinian Authority to sink in corruption, and he has incited his people against Israel and against the Jews. Finally, he has initiated this recent burst of hateful violence, in an attempt to inspire a raging fury all over the Arab and Islamic world to start a jihad, a holy war, against the Jews.

As I listen to the rhetoric of the Palestinian official state and media, and of the Arafatesque intellectuals, I am hardly surprised by the lynching committed in Ramallah. The Palestinian people are suffocated and poisoned by blind hate.³

Note the incitement in those lines. Is it really that different from the Likud offensive against the elected leader of the Palestinians a few months later, when Sharon became prime minister? But, of course, since Oz is a “progressive” he is careful to talk about the natives as if he were a social worker talking about children: it was the father figure, Arafat, who “incited his people against Israel and against the Jews.” And not one phrase is offered to corroborate such an accusation, not a single quotation of this alleged “incitement against the Jews.”⁴

But Oz’s article is better read as an introduction to the humiliation of Arafat’s leadership, and to the slow delegitimization of the Palestinian leadership, in other words, the contempt for Palestinian independence. (A political question for you: Who paved the way for Hamas—Arafat or his Israeli enemies? Who produced the dead end known as “no partner for peace”?) Israel’s theme, already by the fall of the year 2000, was *to frame Arafat*. Read A. B. Yehoshua:

Он признал палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Он даже, стиснув зубы, согласился с тем, что спорные святыне места в Иерусалиме перейдут под контроль мусульман.

Всё безрезультатно. Ясир Арафат вернулся из Кэмп-Дэвида в августе, назвав себя новым Саладином. Палестинская пресса и СМИ немедленно начали раздувать священную войну против евреев «за освобождение святых мест».

Господин Арафат — колоссальная трагедия для обоих народов. Он позволил новообразованной Палестинской автономии погрязнуть в коррупции и подстрекал свой народ против Израиля и евреев. Наконец, он инициировал эту недавнюю волну ненавистнического насилия, пытаясь разжечь яростную вспышку гнева во всем арабском и исламском мире, чтобы начать джихад, священную войну, против евреев.

Слушая риторику палестинского официального государства и СМИ, а также интеллектуалов в духе Арафатеса, я ничуть не удивлен линчеванием, совершенным в Рамалле. Палестинский народ задыхается и отравляется слепыми.

ненавидеть.³

Обратите внимание на подстрекательство в этих строках. Разве это так уж сильно отличается от наступления «Ликуда» против избранного лидера палестинцев несколько месяцев спустя, когда Шарон стал премьер-министром? Но, конечно, поскольку Оз — «прогрессист», он осторожно говорит о туземцах, как будто социальный работник, говорящий о детях: именно Арафат, как отец семейства, «подстрекал свой народ против Израиля и против евреев». И ни одной фразы не приводится в подтверждение такого обвинения, ни одной цитаты из этого предполагаемого «подстрекательства против».

евреев.⁴

Однако статью Оза лучше читать как введение в унижение руководства Арафата и в постепенную делигитимизацию палестинского руководства, иными словами, в презрение к палестинской независимости. (Политический вопрос к вам: кто проложил путь для ХАМАСа — Арафат или его израильские враги? Кто завел нас в тупик, известный как «отсутствие партнера для мира»?) Тема Израиля уже к осени 2000 года заключалась в следующем: *обвинить Арафата* Читайте АБ Йехошуа:

We sat down with Arafat, Barak's offer was generous and then [Arafat] smashed everything to pieces, thinking that only through violence and international pressure could he achieve more. This is the cause of the disappointment. And he made a big mistake, because he was facing Barak, not Sharon or Netanyahu, with a broad consensus to finish the deal.⁵

The Palestinian president was not only the Father of the Palestinian nation, but had also already become an international figure, and it was therefore necessary for Israel to identify the popular uprising with the "old terrorist." Therefore, Oz compared him to Saladin, hoping to appeal to latent colonial (Christian) hatred. It is not a coincidence that Oz was more hateful toward Arafat than anybody else in his camp. There is no other writer of Israeli prose who utilizes the arsenal of colonial stereotypes as much as Amos Oz. (I will return to this later.) Oz's Saladin metaphors had already started in August 2000, while the Israeli army waited for the unrest to begin. Note the agony of the writer sitting in his safe haven, watching the natives, barbaric, poor, in the most populated territory of the world, sealed off already then.

I am sitting in front of the television in the living room, seeing Yasser Arafat receive a triumphant hero's welcome in Gaza, and all this for having said no to peace with Israel. The whole Gaza Strip is covered in flags and slogans proclaiming the "Palestinian Saladin" ... My heart breaks.⁶

Forget for a moment the subject of that paragraph, the "I," the writer himself. Leave to one side the *Weltschmerz* he experiences. Forget even the ignorance toward the "historical person of Saladin" (as so beautifully described by Meron Benvenisti in response to Oz's incitement in *Haaretz* back in August 2000),⁷ the clinging instead to the anti-Muslim and anti-Arab images, the colonial images used in order to appeal to the old Western colonial sentiments. The authentic dimension of Oz's fervor, apart from his total identification with (General) Ehud Barak, is his deep hatred toward the Palestinian desire and struggle. It was he who, during the 1970s, when Israel refused any negotiations with the Palestinians, dubbed the PLO "one of the darkest movements in history." How was it possible then to

Мы сели за стол переговоров с Арафатом, предложение Барака было щедрым, а затем [Арафат] все разрушил, полагая, что только с помощью насилия и международного давления он сможет добиться большего. В этом причина разочарования. И он совершил большую ошибку, потому что противостоял Бараку, а не Шарону или [Арафату].

Нетаньяху, при этом существует широкий консенсус относительно завершения сделки.⁵

Палестинский президент был не только Отцом палестинской нации, но и уже стал международной фигурой, и поэтому Израилю было необходимо отождествить народное восстание со «старым террористом». Поэтому Оз сравнил его с Саладином, надеясь апеллировать к скрытой колониальной (христианской) ненависти. Неслучайно Оз испытывал к Арафату больше ненависти, чем к кому-либо другому в своем лагере. Нет другого израильского писателя, который так же активно использует арсенал колониальных стереотипов, как Амос Оз. (Я вернусь к этому позже.) Метафоры Оза с Саладином начали появляться еще в августе 2000 года, когда израильская армия ждала начала беспорядков. Обратите внимание на агонию писателя, сидящего в своем безопасном убежище и наблюдающего за туземцами, варварами, бедняками, на самой густонаселенной территории мира, уже тогда изолированной.

Я сижу перед телевизором в гостиной и вижу, как Ясира Арафата триумфально встречают в Газе, и всё это за то, что он отказался от мира с Израилем. Весь сектор Газа покрыт флагами и лозунгами, провозглашающими «палестинского Саладина»...

Моё сердце разрывается.⁶

Забудьте на мгновение о подлежащем этого абзаца, об «я», самом авторе. Отложите в сторону...*Вельтшмерц* Он переживает. Забудьте даже о невежестве по отношению к «исторической личности Саладина» (как это прекрасно описал Мерон Бенвенисти в ответ на «Страну Оза»).

подстрекательство в *Хаарец* (ещё в августе 2000 года),⁷ Вместо этого он цепляется за антимусульманские и антиарабские образы, колониальные образы, используемые для того, чтобы апеллировать к старым западным колониальным настроениям. Подлинная сторона пыла Оза, помимо его полного отождествления с (генералом) Эхудом Бараком, заключается в его глубокой ненависти к палестинским стремлениям и борьбе. Именно он в 1970-х годах, когда Израиль отказался от каких-либо переговоров с палестинцами, назвал ООП «одним из самых мрачных движений в истории». Как же тогда было возможно...

turn such a man into a symbol of peace-loving Israel? Only colonial sentiments can explain this.

In any case, the hatred toward Arafat intensified, especially inside Israel, during the years preceding his death. Every terrorist action was automatically blamed on him. And during Sharon's reign, this hatred reached an aggressive zenith, when every terrorist attack, that is, every failure of Israel's draconian security measures, was followed by a threat from one cabinet minister or another: "It is about time we liquidated Arafat." The "motive" behind this aggression, toward the elected president of the Palestinians, changed from time to time. Sometimes he was not democratic enough, at other times he did not oppress his opponents with sufficient force, and on yet other occasions he was just too corrupt (as if the corruption rampant among Israel's leadership would ever be a reason not to talk to them).

This strategy preceded even the outbreak of the 2000 intifada. It ran throughout the Oslo years, while the colonization deepened, the number of settlers tripled, lands were expropriated, roads for Jews were paved in the occupied territories, IDF assassination squads were killing Palestinian youths, and Arafat kept promising his people independence, as he was stubborn (foolish? optimistic?) enough to trust unfounded promises he had received regarding the creation of two states west of the Jordan river. But when Camp David failed, regardless of anything else, everyone—writers, ambassadors, senior columnists—were on the same frequency: blame Arafat.

I do not wish to analyze the "Arafat theme" in the Israeli press, only to say that it was directed from above, as part of an orchestrated propaganda campaign. It was part of what Israeli political discourse calls *Hasbara*, which literally means "explanation," but more fundamentally means "successful" propaganda.⁸ Israelis are called upon, as good patriots, to "explain" the country's policies to the outside world. Professors who went on sabbaticals abroad were supplied with the "correct answers" to give, and so were Israeli writers. So, the "Arafat theme," as well as later themes, began with a political decision from above, and Amos Oz was simply one of the best hacks in this troupe. Yet, I would like to confront this success of the Israeli media with a totally different set of events. Forget for a

Превратить такого человека в символ миролюбивого Израиля? Это можно объяснить только колониальными настроениями.

В любом случае, ненависть к Арафату усилилась, особенно внутри Израиля, в годы, предшествовавшие его смерти. Каждое террористическое действие автоматически приписывалось ему. А во время правления Шарона эта ненависть достигла агрессивного апогея, когда за каждым террористическим актом, то есть за каждым провалом драконовских мер безопасности Израиля, следовала угроза от того или иного министра кабинета: «Наконец-то мы ликвидировали Арафата». «Мотив» этой агрессии по отношению к избранному президенту палестинцев менялся время от времени. Иногда он был недостаточно демократичен, иногда недостаточно жестко подавлял своих оппонентов, а в третьих случаях он был просто слишком коррумпирован (как будто повсеместная коррупция среди израильского руководства когда-либо могла стать причиной для отказа от переговоров с ними).

Эта стратегия существовала ещё до начала интифады 2000 года. Она применялась на протяжении всего периода Осло, пока колонизация углублялась, число поселенцев утраивалось, земли экспроприировались, на оккупированных территориях прокладывались дороги для евреев, отряды убийц ЦАХАЛ расправлялись с палестинской молодёжью, а Арафат продолжал обещать своему народу независимость, поскольку был достаточно упрям (глуп? оптимистичен?), чтобы поверить необоснованным обещаниям, которые он получил относительно создания двух государств к западу от реки Иордан. Но когда Кэмп-Дэвид потерпел неудачу, несмотря ни на что, все — писатели, послы, ведущие обозреватели — были единодушны: во всём виноват Арафат.

Я не хочу анализировать «тему Арафата» в израильской прессе, а лишь скажу, что она была направлена сверху, являясь частью спланированной пропагандистской кампании. Это было частью того, что в израильском политическом дискурсе называют *Хасбарач*то в буквальном смысле означает «объяснение», но, что более важно, это означает «успешную» пропаганду.⁸Израильтян, как истинных патриотов, призывают «объяснить» политику страны внешнему миру. Профессорам, уезжавшим в отпуск за границу, предоставлялись «правильные ответы», как и израильским писателям. Таким образом, «тема Арафата», как и последующие темы, началась с политического решения сверху, а Амос Оз был просто одним из лучших дилетантов в этой труппе. Тем не менее, я хотел бы сопоставить этот успех израильских СМИ с совершенно иным набором событий. Забудьте на время

moment the books (such as Charles Enderlin's *Le rêve brisé*), the essays (especially the one by Hussein Agha and Robert Malley in the *New York Review of Books* in August 2001⁹). Let us follow the real cracks in Israeli belief in the official version.

Enter Major General Malka

One month after the intifada began in late September 2000, Major General Amos Malka, by then number three in the military hierarchy and the head of Israeli military intelligence (a post he was to hold until 2001), asked one of his officers (Major Kuperwasser) how many 5.56 bullets had been fired—from automatic rifles, heavy machine guns—in the Central Command (that is, in the West Bank) during that first month of the intifada. This is what Malka said in an interview, years after the event:

Kuperwasser got back to me with the number: 850,000 bullets. My figure was 1.3 million bullets in the West Bank and Gaza. This is a strategic figure that says that our soldiers are shooting and shooting and shooting. I asked: "Is this what you intended in your preparations?" and he replied in the negative. I said: "Then the significance is that we are determining the height of the flames."¹⁰

It was a bullet for every Palestinian child, said one of the officers in that meeting. (This is what the Israeli daily *Maariv* had already revealed seven years ago, when the horrible figures were first leaked to the press, probably by Malka himself). Is this not the right place to repeat Lanzmann's deceptive description? Yes, indeed, for he was referring in his description exactly to the period Malka was talking about.

They have autonomous territories, an armed police force, weapons are everywhere, behind the rock throwers—the young boys on the front line—there are the masked and equipped Tanzim of Fatah.

в тот момент книги (например, Чарльза Эндерлина) *Le rêve brisé* эссе (особенно эссе Хусейна Аги и Роберта Малли)

тот *Нью-Йоркское книжное обозрение* в августе 2001 года⁹ Давайте проследим за реальными трещинами в израильской вере в официальной версии.

Входит генерал-майор Малка.

Через месяц после начала интифады в конце сентября 2000 года генерал-майор Амос Малка, занимавший к тому времени третье место в военной иерархии и возглавлявший израильскую военную разведку (должность, которую он занимал до 2001 года), спросил одного из своих офицеров (майора Купервассера), сколько патронов калибра 5,56 мм было выпущено из автоматических винтовок и крупнокалиберных пулеметов в Центральном командовании (то есть на Западном берегу) за первый месяц интифады. Вот что сказал Малка в интервью спустя годы после этого события:

Купервассер сообщил мне цифру: 850 000 пуль. Моя цифра составляла 1,3 миллиона пуль на Западном берегу и в секторе Газа. Это стратегически важная цифра, которая говорит о том, что наши солдаты стреляют, стреляют и стреляют. Я спросил: «Это то, что вы планировали?», и он ответил отрицательно. Я сказал: «Тогда значение заключается в том, что мы определяем...» «Вершина пламени».¹⁰

«Это была пуля за каждого палестинского ребенка», — сказал один из офицеров на той встрече. (Это цитата из израильской ежедневной газеты) *Маарив* Это уже было раскрыто семь лет назад, когда ужасающие цифры впервые просочились в прессу, вероятно, самим Малкой. Не уместно ли здесь повторить обманчивое описание Ланцмана? Да, конечно, ведь в своем описании он имел в виду именно тот период, о котором говорил Малка.

У них есть автономные территории, вооруженная полиция, оружие повсюду, за метателями камней — молодыми парнями на передовой — стоят замаскированные и экипированные боевики ФАТХ.

It was the first month of the intifada. The history of colonialism is very familiar with this type of scenario: an attempt by the natives to rise up—yes, bitterly, sometimes violently—meets with a horrible military response, a “tough” response, “let them know who is the master, let them forget the desire for freedom, let them forget what we have inflicted upon them, let them suffer even more.” The Israeli Chief of Staff Moshe Ya’alon later dubbed this response as “burning their consciousness.” When the intifada broke out, he was deputy chief of staff, already the mastermind behind this strategy, an ally of Ehud Barak. The goal was not only to indefinitely postpone fulfillment of the promise to found a Palestinian state, but also to use the unrest in order to break the Palestinians, to reverse the Oslo “mistakes.” A few weeks before Camp David, in July 2000, during the preparations for the Camp David summit, Major General Malka reviewed Arafat’s positions for the members of the Israeli cabinet.

I said there was no chance that he would compromise on 90 percent of the territories or even on 93 percent. He is not a real-estate trader, and he is not going to stop midway. Barak said to me: “You are telling me that if I offer him 90 percent, he isn’t going to take it? I don’t accept your assessment.”

I said to him that indeed, there is no chance that he would accept it ... I told them [the cabinet members, all Labour and *Meretz*—Y.L.] that the difference between me and them is that they are speaking from hope and I am trying to neutralize my hope and give a professional assessment. But Barak saw himself as able to make his assessments without assessments from Military Intelligence, because he is his own intelligence, and he thought he was smarter. Afterward, it was convenient for him to explain his failure by a distorted description of the reality.¹¹

Haaretz’s senior political commentator Akiva Eldar, who interviewed Malka, wrote the following:

Malka insists that even after the peace talks gave way to hostilities, Military Intelligence did not revise its assessments.

Это был первый месяц интифады. История колониализма хорошо знакома с подобными сценариями: попытка коренного населения поднять восстание — да, ожесточенное, иногда насильственное — встречает ужасный военный ответ, «жесткий» ответ: «Пусть они знают, кто здесь хозяин, пусть забудут о стремлении к свободе, пусть забудут о том, что мы им причинили, пусть страдают еще больше». Начальник Генерального штаба Израиля Моше Яалон позже назвал этот ответ «сжиганием их сознания». Когда началась интифада, он был заместителем начальника Генерального штаба, уже тогда главным организатором этой стратегии, союзником Эхуда Барака. Цель состояла не только в том, чтобы на неопределенный срок отложить выполнение обещания о создании палестинского государства, но и в том, чтобы использовать беспорядки для того, чтобы сломить палестинцев, исправить «ошибки» Осло. За несколько недель до Кэмп-Дэвида, в июле 2000 года, во время подготовки к саммиту в Кэмп-Дэвиде, генерал-майор Малка ознакомил членов израильского кабинета министров с позицией Арафата.

Я сказал, что у него нет ни малейшего шанса пойти на компромисс по поводу 90 процентов территорий или даже 93 процентов. Он не занимается торговлей недвижимостью и не собирается останавливаться на полпути. Барак ответил мне: «Вы хотите сказать, что если я предложу ему 90 процентов, он откажется? Я не согласен с вашей оценкой».

Я сказал ему, что, действительно, нет никаких шансов, что он это примет... Я сказал им [членам кабинета министров, всем лейбористам и...] *Мерец*—YLРазница между мной и ними в том, что они говорят, исходя из надежды, а я пытаюсь нейтрализовать свою надежду и дать профессиональную оценку. Но Барак считал себя способным делать свои оценки без помощи военной разведки, потому что он сам был частью её интеллекта, и он думал, что умнее. Впоследствии ему было удобно объяснить свою неудачу искаженным образом. описание реальности.¹¹

*Хаарец*Ведущий политический комментатор издания Акива Эльдар, взявший интервью у Малки, написал следующее:

Малка настаивает на том, что даже после того, как мирные переговоры переросли в боевые действия, военная разведка не пересмотрела свои оценки.

Neither did the research units at the Shin Bet, the Mossad, the Foreign Ministry and the office of the coordinator of activities in the territories adopt the thesis that the Camp David summit had revealed “the Oslo plot” [by Arafat].¹²

And this is how Amos Oz described the failure of Camp David to Western ears. Note how similar his description of Arafat’s “inability” to think or act for peace is to the official line presented by Major General Malka:

Ehud Barak went a very long way towards the Palestinians, even before the beginning of the Camp David summit; longer than any of his predecessors ever dreamt to go; longer than any other Israeli prime minister is likely to go. On the way to Camp David, Barak’s proclaimed stance was so dovish that it made him lose his parliamentary majority, his coalition government, even some of his constituency. Nevertheless, while shedding wings and body and tail on the way, he carried on like a flying cockpit, he carried on. Seemingly Yasser Arafat did not go such a long and lonely way towards the Israelis.¹³

Did Oz simply get his facts wrong? Was he misled? It is of little importance. He who sleeps with dogs will wake up with fleas. In January 2007, when Ehud Barak declared he was returning to political life, Akiva Eldar summed up his achievements thus, back in those bad old days:

He dragged Yasser Arafat into a predictable failure at the Camp David talks. Then, when the talks with the Palestinian delegation in Washington were moving ahead at full steam, Barak allowed Ariel Sharon to take a provocative stroll on the Temple Mount. After the intifada broke out, he refused to meet with Arafat, who sought to lower the flames. Barak also instructed then-IDF chief of staff Shaul Mofaz to enter into direct hostilities with the Palestinian security services headed

Исследовательские подразделения Шин Бет, Моссада, Министерства иностранных дел и управления координатора деятельности на территориях также не приняли тезис о том, что лагерь

На саммите в Давиде был раскрыт «Ословский заговор» [Арафата].¹²

Вот как Амос Оз описал провал Кэмп-Дэвидского соглашения западным слушателям. Обратите внимание, насколько его описание «неспособности» Арафата мыслить или действовать во имя мира совпадает с официальной позицией генерал-майора Малки:

Эхуд Барак проделал очень долгий путь навстречу палестинцам еще до начала саммита в Кэмп-Дэвиде; дольше, чем любой из его предшественников когда-либо мечтал пройти; дольше, чем, вероятно, сможет пройти любой другой израильский премьер-министр. На пути к Кэмп-Дэвиду заявленная Бараком позиция была настолько мягкой, что привела к потере парламентского большинства, коалиционного правительства и даже части своего электората. Тем не менее, сбрасывая крылья, тело и хвост по пути, он продолжал двигаться вперед, как летающая кабина. Кажется, Ясир Арафат не прошел такой долгий и одинокий путь навстречу палестинцам.

Израильтяне.¹³

Оз просто ошибся в фактах? Его ввели в заблуждение? Это не имеет большого значения. Кто спит с собаками, тот проснется с блохами. В январе 2007 года, когда Эхуд Барак объявил о своем возвращении в политику, Акива Эльдар так подытожил его достижения в те мрачные времена:

Он втянул Ясира Арафата в предсказуемый провал на переговорах в Кэмп-Дэвиде. Затем, когда переговоры с палестинской делегацией в Вашингтоне шли полным ходом, Барак позволил Ариэлю Шарону совершить провокационную прогулку по Храмовой горе. После начала интифады он отказался встречаться с Арафатом, который пытался утихомирить ситуацию. Барак также поручил тогдашнему начальнику Генерального штаба ЦАХАЛ Шаулю Мофазу вступить в прямые боевые действия с палестинскими службами безопасности, возглавляемыми

by Jibril Rajoub, who stood like a wall between IDF soldiers and the Tanzim militias.¹⁴

And, after all this, Barak, before resigning to enter the business world, handed the right not only the government, but the greatest gift of all: In order to cover up his failure to achieve an agreement with the Palestinians, he claimed credit for his success in proving that “there is no Palestinian partner.”¹⁵

We return again to those who helped furnish the “obvious facts” that lie behind today’s desperate situation. Did Oz ever review the part he played in the propaganda campaign? Propagandists do not apologize, unless it is part of the propaganda operation. In any case, he never retracted, never apologized.

Silence is unquotable. I cannot even try and inform you of all the events about which these champions of civil rights kept their mouths shut during that very intifada. Those representatives of the Peace Camp, as they are depicted in the Western press, especially in France, kept their mouths clamped during the great massacres in Rafah and Gaza City, and earlier, during the massacres in Jenin and other towns and villages of Palestine. That silence is unquotable, unless the Western newspapers had bothered to ask them for their response during those massacres. But the press did not ask, because it did not want to know, because the function of these writers—fetishes of progress—was never to be informative, nor to be intellectuals. Is this down to bad writing? Bad journalism? Or caused by paternalistic editors who tolerate awful columns from our little provincial outpost? Perhaps. Yet a proper explanation needs more than a superficial psychological portrait of a handful of editors. What is it that makes up this fetish?

The Messenger of the Colonial—The Neo-New Jew

Is the genocide of European Jewry being used as part of the negation of what is happening to the Palestinians? Who can doubt it? When Eli Wiesel or Claude Lanzmann or any other of the most distinguished bearers of Holocaust memory are recruited to defend Israel, everybody knows they do so on behalf of the Holocaust

Джибриль Раджуб, который стоял как стена между солдатами ЦАХАЛ и ополченцами Танзима.¹⁴

И после всего этого Барак, прежде чем уйти в отставку и заняться бизнесом, преподнес право не только правительству, но и самый ценный подарок: чтобы скрыть свою неудачу в достижении соглашения с палестинцами, он приписал себе заслугу в доказательстве того, что «Палестинских партнеров нет».¹⁵

Мы снова возвращаемся к тем, кто помог предоставить «очевидные факты», лежащие в основе сегодняшней отчаянной ситуации. Пересматривал ли Оз когда-нибудь свою роль в пропагандистской кампании? Пропагандисты не извиняются, если это не является частью пропагандистской операции. В любом случае, он никогда не отказывался от своих слов, никогда не извинялся.

Молчание не подлежит цитированию. Я даже не могу попытаться рассказать вам обо всех событиях, о которых эти борцы за гражданские права молчали во время той самой интифады. Эти представители «Лагеря мира», как их изображает западная пресса, особенно во Франции, хранили молчание во время массовых убийств в Рафахе и Газе, а ранее — во время массовых убийств в Дженине и других городах и деревнях Палестины. Это молчание не подлежит цитированию, если бы западные газеты не удосужились спросить их об их реакции на эти массовые убийства. Но пресса не спрашивала, потому что не хотела знать, потому что функция этих писателей — фетишей прогресса — никогда не заключалась в том, чтобы быть информативными или интеллектуалами. Это результат плохого стиля письма? Плохой журналистики? Или же это следствие патерналистских редакторов, которые терпят ужасные колонки из нашего маленького провинциального форпоста? Возможно. Однако для правильного объяснения требуется нечто большее, чем поверхностный психологический портрет горстки редакторов. Что же составляет этот фетиш?

Вестник колоний — Нео-Новый еврей

Используется ли геноцид европейского еврейства как средство отрицания того, что происходит с палестинцами? Кто может в этом сомневаться? Когда Эли Визель, Клод Ланцман или любой другой из самых выдающихся носителей памяти о Холокосте привлекаются к защите Израиля, все знают, что они делают это от имени Холокоста.

survivors and victims, namely the State of Israel. Again, this is all part of the blurred lines between Jews and Israelis, the mixed roles they play, all under one title: victims.

“Allow me to tell a brief story, a private one.” This is how David Grossman opened one of his European columns, in 1998.

A very dear member of my family, a survivor of the Treblinka death camp, arrived at my wedding with a bandage on her forearm. She was covering her tattooed number so as not to mar the celebration with a memento of the Holocaust.

I understood then, very sharply, how much all of us here in Israel are always walking on a surface as thin as that bandage.¹⁶

Only in this special genre of “Israeli writing in the West” does one reflect at one’s own wedding party on the fate of the Jewish nation in general and on Treblinka in particular. This is such a scandalous example of kitsch that I will refrain from elaborating on it further. But needless to say, no Israeli newspaper would have published such nonsense about an aunt with a bandage, not even if Grossman had submitted it. Yet the Italian daily *La Repubblica* published this “reflection” on the occasion of Pope John-Paul the Second’s visit to Israel in 1998. Of course, the conclusion was that what we all need is peace and forgiveness and so on and so forth. Who in the “repentant” West would have mentioned that what the aunt covered in public was then uncovered by the nephew? No one. This is not a story about a family, but about politics in Israel, told not by a survivor or a son of survivors (the so-called “second generation”). This is a story told by an ideologue. In this story, every Israeli is a member of the “second generation.” Israeli writers within this genre—writers of columns that address the good conscience of the liberal reader in the West—repeat the same story: We are the survivors, there is no other place for us but in the Middle East, yet we are Westerners like yourselves, we have the same values as you do, we want peace.

A certain Ilan Greilsammer wrote on September 11, 2003, in *Le Monde*—among other defamations of the Israeli left—the following words:

Выжившие и жертвы, а именно Государство Израиль. Опять же, все это часть размытых границ между евреями и израильтянами, смешанных ролей, которые они играют под одним общим названием: жертвы.

«Позвольте мне рассказать короткую историю, личную». Так Дэвид Гроссман начал одну из своих европейских колонок в 1998 году.

Очень дорогая мне родственница, пережившая концлагерь Треблинка, пришла на мою свадьбу с повязкой на предплечье. Она прикрывала свою татуировку с номером, чтобы не испортить торжество напоминанием о Холокосте.

Тогда я очень остро осознал, насколько все мы здесь, в Израиле, постоянно ходим по такой тонкой поверхности.

бинт.¹⁶

Только в этом особом жанре «израильской литературы на Западе» на собственной свадьбе можно задуматься о судьбе еврейского народа в целом и Треблинки в частности. Это настолько скандальный пример китча, что я воздержусь от дальнейших комментариев. Но, само собой разумеется, ни одна израильская газета не опубликовала бы подобную чепуху о тете с повязкой, даже если бы ее представил Гроссман. И все же итальянская ежедневная газета *La Repubblica* Это «размышление» было опубликовано по случаю визита Папы Иоанна Павла II в Израиль в 1998 году. Конечно, вывод был таков: всем нам нужны мир, прощение и так далее. Кто на «раскаявшемся» Западе упомянул бы, что то, что тетя публично скрывала, затем было раскрыто племянником? Никто. Это история не о семье, а о политике в Израиле, рассказанная не выжившим или сыном выживших (так называемым «вторым поколением»). Это история, рассказанная идеологом. В этой истории каждый израильтянин — член «второго поколения». Израильские писатели в этом жанре — авторы колонок, обращающихся к чистой совести либерального читателя на Западе, — повторяют одну и ту же историю: мы — выжившие, для нас нет другого места, кроме Ближнего Востока, но мы — западные люди, как и вы, у нас те же ценности, что и у вас, мы хотим мира.

Некий Илан Грейлсаммер написал 11 сентября 2003 года в *Le Monde*—среди прочих клеветнических высказываний в адрес израильских левых — следующие слова:

It is enough to be an anti-Zionist, a-Zionist, post-Zionist, or a new historian who describes the massacres perpetrated by the Jews during the war of 1948 to be welcomed everywhere with open arms. It is of no importance that these Israeli anti-Zionists represent an infinitesimally small fraction of the Jewish Israeli population (How many are there in all? Thirty? Sixty? Out of ... 5 million?) or that the solutions they propose refer to completely delirious chimeras, those of an Arab Palestinian state which would guarantee the rights of a Jewish minority [*sic*], for their views are now avidly sought well beyond—and here is the novelty—the ranks of groups of the extreme Left. Out go the likes of Zeev Sternhell, Eli Barnavi, Claude Klein, Yirmiyahu Yovel, Amos Oz, A. B. Yehoshua, and David Grossmann although they represent all that is best and most intelligent in the Israeli peace camp.¹⁷

In today's Israel, it is not that easy to research the atrocities committed by Israeli soldiers in the war of 1948. People have lost their jobs in Israeli universities for less than that. It is not that easy to demonstrate against the war in Lebanon as, according to Greilsammer, only the “anti-Zionist[s], a-Zionist[s], post-Zionist[s], or ... new historian[s]” did. What Greilsammer is really driving at is the following: in any other place in the (white) world, a state of all its citizens would be a reasonable democratic and republican solution, a legitimate political idea—but this does not apply to Arabs. If a French non-Jew were to claim this, he would without a doubt be considered a Le Pen supporter. But it is the role of the Jew, within French racism, to articulate such disdain toward the Arabs. This is the return of the colonial.

Of course the Israeli Peace Camp figures do not have the same values as the liberal readers of *Le Monde*, *Libération*, the *Guardian*, or *La Repubblica*. Of course, not one of those readers would publicly demand the kind of constitution those writers support in Israel. And, of course, not one of the European liberal readers of those Peace Camp Israeli writers would dare support in their own countries religious matrimonial laws of the type we have in Israel, or property laws under which Arabs are prevented from purchasing land, not to

Достаточно быть антисиионистом, сиионистом, постсиионистом или новым историком, описывающим массовые убийства, совершенные евреями во время войны 1948 года, чтобы это было встречено повсюду с распростертыми объятиями. Совершенно неважно, что эти израильские антисиионисты представляют собой ничтожно малую долю еврейского населения Израиля (сколько их всего? Тридцать? Шестьдесят? Из... 5 миллионов?) или что предлагаемые ими решения представляют собой совершенно бредовые химеры, например, идею арабского палестинского государства, которое гарантировало бы права еврейского меньшинства. *сик*], поскольку их взгляды теперь активно востребованы далеко за пределами — и здесь в этом новшество — рядов крайне левых групп. Уходят такие люди, как Зеэв Штернхелл, Эли Барнави, Клод Кляйн, Ирмия Йовель, Амос Оз, А.Б. Йехошуа и Дэвид Гроссманн, хотя они представляют все лучшее, что есть в этом мире. и самый умный в израильском лагере за мир.¹⁷

В современном Израиле не так-то просто исследовать зверства, совершенные израильскими солдатами во время войны 1948 года. Люди теряли работу в израильских университетах даже за меньшие проступки. Не так-то просто протестовать против войны в Ливане, как, по словам Грейльсаммера, это делали только «антисиионисты, сиионисты, постсиионисты или... новые историки». На самом деле Грейльсаммер пытается донести следующую мысль: в любом другом месте (белого) мира государство, объединяющее всех своих граждан, было бы разумным демократическим и республиканским решением, законной политической идеей, — но это не относится к арабам. Если бы французский нееврей заявил об этом, его, несомненно, сочли бы сторонником Ле Пен. Но именно роль еврея во французском расизме заключается в том, чтобы выражать такое презрение к арабам. Это возвращение колониализма.

Конечно, деятели израильского «Лагеря мира» не разделяют тех же ценностей, что и либерально настроенные читатели. *Le Monde*, *Libération*, то *Страж*, или *La Repubblica* Конечно, ни один из этих читателей публично не стал бы требовать принятия в Израиле конституции, подобной той, которую поддерживают эти авторы. И, конечно же, ни один из европейских либеральных читателей этих израильских авторов из «Лагеря мира» не осмелился бы поддержать в своих странах религиозные брачные законы, подобные тем, что действуют в Израиле, или законы о собственности, согласно которым арабам запрещено покупать землю.

mention Israel's laws of citizenship that discriminate against non-Jews. This is exactly the role assigned by racist Europe: to rid Western democracy of its liberal rhetoric. Read Alain Finkielkraut.¹⁸ The poor man talked too much to *Haaretz*. The gap between him and Le Pen is not that great. But this similarity was supposed to remain unspoken, hidden. The hapless Finkielkraut, talking to a Hebrew liberal newspaper, drowned in his own identification with Israel and said out loud what he was meant to have kept to himself. He "felt at home" talking to the Israelis—about the Holocaust and his own history, and about Muslims, and Africans, and Jews, and of course the West, the great defender of tolerance. Tragically enough, all too many Jews have taken up this dirty gauntlet, to express the old racism with a new form of invented history: "the Judeo-Christian tradition," with one common enemy—Islam.¹⁹

The issue here is not that of Jewish racism, or Jewish hostility toward Arabs or Muslims, not because these do not exist, but because we are dealing here with the Western media. The question here is not Jewish racism per se, but rather *the Western role assigned to Jews vis-à-vis Arabs*. This is the ideological context in which it became self-evidently correct to wash over colonial crimes with slogans of "victims' rights," or "love of peace," or "yearning for peace." The new Jew was once a member of a kibbutz, a good and decent socialist, who, as we all remember, turned the desert green. The neo-new Jew has a completely different role. Either he is an Israeli or pro-Israeli, and he has to remind Europe that the Jews are the bearers of Europe's memory of evil. Our collective memory is the only place to deal with absolute memory, the ultimate story of human suffering. We are not dealing here with a political agenda, nor with a political act. It is rather to do simply with images with which we can identify. This is how Martine Silber opened a long column about Amos Oz:

When he speaks, he leans towards his interlocutor, as if he were dealing with an adversary, a student, a child. Completely absorbed by what he is saying, he demands—by his attitude, his look, his voice, the pauses he makes, as much as by the content of what he says—complete attention. Indefatigable,

Упомяните израильские законы о гражданстве, дискриминирующие неевреев. Именно такую роль и отводит расистская Европа: избавить Западная демократия и её либеральная риторика. Почитайте Алена Финкелькраута.¹⁸ Бедняга слишком много болтал. *Хаарец* Разница между ним и Ле Пен не так уж велика. Но это сходство должно было остаться невысказанным, скрытым. Несчастный Финкелькраут, разговаривая с либеральной еврейской газетой, утонул в собственном отождествлении себя с Израилем и вслух сказал то, что должен был держать при себе. Он «чувствовал себя как дома», разговаривая с израильтянами — о Холокосте и своей собственной истории, о мусульманах, африканцах, евреях и, конечно же, о Западе, великом защитнике толерантности. Трагично, что слишком многие евреи подхватили этот грязный вызов, чтобы выразить старый расизм с помощью новой формы вымышленной истории: «иудео-христианской».

традиция», с одним общим врагом — исламом.¹⁹

Речь здесь идёт не о еврейском расизме или враждебности евреев по отношению к арабам или мусульманам, не потому что этого не существует, а потому что мы имеем дело с западными СМИ. Вопрос здесь не в самом еврейском расизме, а скорее в другом. *роль, отводимая Западом евреям по отношению к арабам* Именно в таком идеологическом контексте стало само собой разумеющимся замалчивать колониальные преступления лозунгами о «правах жертв», «любви к миру» или «стремлении к миру». Новый еврей когда-то был членом кибуца, хорошим и порядочным социалистом, который, как мы все помним, озеленил пустыню. У нового еврея совершенно другая роль. Он либо израильтянин, либо сторонник Израиля, и он должен напоминать Европе, что евреи являются носителями европейской памяти о зле. Наша коллективная память — единственное место, где можно иметь дело с абсолютной памятью, с главной историей человеческих страданий. Здесь мы имеем дело не с политической программой и не с политическим актом. Речь идет просто об образах, с которыми мы можем себя отождествить. Так Мартин Зильбер начала свою длинную колонку об Амосе Озе:

Когда он говорит, он наклоняется к собеседнику, словно имеет дело с противником, учеником, ребенком. Полностью поглощенный темой разговора, он требует — своим поведением, взглядом, голосом, паузами, а также содержанием сказанного — полного внимания. Неутомимый,

determined and rigorous, his certainties and his serenity rest on ancient and indelible suffering. We can get a glimpse of these if we refer to a collection of texts published in 1995 by Calmann-Lévy: *Les deux morts de ma grand-mère*. He was born in 1939, in Jerusalem, under the British Mandate. His grandfather had fled Odessa after the October Revolution. Although a Zionist, he had left for Vilnius in Poland. In 1931, exhausted by the anti-Semitic persecution, it was still not towards Zion that he turned: he requested an American passport which was refused to him. He was also refused entry to England and France. He was then “sufficiently mad” to ask for German citizenship. Finally, he settled “on Asia,” Zion, Jerusalem. It was not the paradise on earth that he had described in the bad poems he had composed, but rather a primitive, noisy, dusty, agitated city, in which culture was totally absent.²⁰

Needless to say, the subject of this interview was the allegedly self-evident aspiration for peace, limited to the Israeli side, of course. Nor need we be surprised at the use of the timeworn formula of “Justice versus Justice”:

It is a conflict between what is just and what is just, between Good and Good, sometimes between evil and evil, but never, *never*, between the Good and the Evil. And everyone knows what the solution will be, everybody knows that one day there will be two states.

But that formula was just as accurate in 1967, in 1977, in 1997, as today. It is a hollow formula, behind which one can easily hide and close one's eyes to concrete injustices, evoking the empty slogan of “Justice versus Justice.” With the use of the superficial “Justice versus Justice” theme, one does not have to take sides; one is exempt from taking a real moral stance. If each side is as just as the other, one is fully entitled to stick up for one's own ethnic group.

But, as I have said, this is not about a political agenda. It is about the iconization of politics. Oz or Grossman will tell you about their

Его решительность и непреклонность основаны на древних и неизгладимых страданиях. Мы можем увидеть это, обратившись к сборнику текстов, опубликованному Кальманном-Леви в 1995 году: *Les deux morts de ma grand-mère*. Он родился в 1939 году в Иерусалиме, во времена британского мандата. Его дед бежал из Одессы после Октябрьской революции. Хотя он был сионистом, он уехал в Вильнюс, Польша. В 1931 году, измученный антисемитскими преследованиями, он обратился не к Сиону: он попросил американский паспорт, в котором ему было отказано. Ему также отказали во въезде в Англию и Францию. Тогда он был «достаточно безумен», чтобы попросить немецкое гражданство. Наконец, он поселился «в Азии», Сионе, Иерусалиме. Это был не рай на земле, который он описывал в своих плохих стихах, а скорее первобытный, шумный, пыльный, беспокойный город, в котором царила культура.

полностью отсутствует.²⁰

Разумеется, темой этого интервью стало якобы очевидное стремление к миру, ограничивающееся, разумеется, израильской стороной. И нас не должно удивлять использование избитой формулы «Справедливость против справедливости»:

Это конфликт между тем, что справедливо, и тем, что справедливо, между Добром и Добром, иногда между злом и злом, но никогда... *никогда* Между Добром и Злом. И всем известно, каким будет решение, всем известно, что однажды будет два государства.

Но эта формула была столь же точна в 1967, 1977, 1997 годах, как и сегодня. Это пустая формула, за которой легко спрятаться и закрыть глаза на конкретную несправедливость, прибегая к пустому лозунгу «Справедливость против справедливости». Используя поверхностную тему «Справедливость против справедливости», не нужно занимать чью-либо сторону; человек освобождается от необходимости занимать реальную моральную позицию. Если каждая сторона так же справедлива, как и другая, то человек имеет полное право защищать свою этническую группу.

Но, как я уже говорил, речь идёт не о политической программе. Речь идёт об иконизации политики. Оз или Гроссман расскажут вам об этом.

relatives who survived the Holocaust, as does Finkelkraut. There is no real political or philosophical discourse here, apart from: “We are here to remind you that evil at its worst did take place, and took place against us. The least you can do now is to not identify with the victims of our forty-year-old occupation. You owe us that much at least.”

Does this discourse spring from the hatred of Arabs and Muslims? Not at all. One did not have to wait for Finkelkraut’s scandalous interview in *Haaretz* to sense that. It was in the air all along; it is the return of the colonial. But it is insufficient just to say “they are Jews and that is why they defend Israel’s colonial crimes,” not only because such talk can easily become anti-Semitic, but because the question has always been the arena in which these pro-Israeli propagandists play. And the best way to examine this is through the discourse on the right of return for Palestinian refugees. Here the theme of colonial anxiety—“they will drown us, these masses of refugees”—was most carefully developed.

Mama, the Arabs Are Coming!

The old Western colonial discourse of mistrust of the Arabs needed the Israeli Peace Camp’s intellectuals “to tell the Truth.” Credited with personal integrity, Israeli writers depicted the Israeli as the eternal victim of the Palestinians:

Already in 1967 I was one of the very few Israelis invoking the solution of two neighboring states, with Jerusalem as the capital city of both, reciprocal recognition and mutual acceptance. Since then, for many years, my own people treated me like a traitor. My children at school suffered all manner of insults, accused of being the children of one ready to sell off his homeland ... I pause to reflect. I remember how in the old days a single phone booth would have sufficed to contain the entire national assembly of Israeli peace activists. We could literally count ourselves on the tip of our fingers, a tiny minority among minorities. Today everything is different.

родственники, пережившие Холокост, как и Финкелькраут. Здесь нет настоящего политического или философского дискурса, кроме: «Мы здесь, чтобы напомнить вам, что зло в его худшем проявлении действительно имело место, и имело место против нас. По крайней мере, сейчас вы можете не отождествлять себя с жертвами нашей сорокалетней оккупации. Вы нам хотя бы это должны».

Разве этот дискурс проистекает из ненависти к арабам и мусульманам? Вовсе нет. Не стоило ждать скандального интервью Финкелькраута в *Хаарец*. Это нужно почувствовать. Это витало в воздухе все это время; это возвращение колониализма. Но недостаточно просто сказать: «Они евреи, и поэтому они защищают колониальные преступления Израиля», не только потому, что такие разговоры легко могут стать антисемитскими, но и потому, что вопрос всегда заключался в том, на какой арене действуют эти произраильские пропагандисты. И лучший способ изучить это — через дискуссию о праве на возвращение палестинских беженцев. Здесь тема колониальной тревоги — «они утопят нас, эти массы беженцев» — была разработана наиболее тщательно.

Мама, арабы идут!

В рамках старого западного колониального дискурса, основанного на недоверии к арабам, интеллектуалам из израильского лагеря мира требовалось «говорить правду». Израильские писатели, отличавшиеся личной честностью, изображали израильтян как вечных жертв палестинцев:

Уже в 1967 году я был одним из немногих израильтян, кто призывал к решению проблемы путем создания двух соседних государств, где Иерусалим был бы столицей обоих, путем взаимного признания и принятия. С тех пор, на протяжении многих лет, мой собственный народ относился ко мне как к предателю. Мои дети в школе подвергались всевозможным оскорблениям, их обвиняли в том, что они дети человека, готового продать свою родину... Я задумываюсь. Я помню, как в прежние времена одной телефонной будки хватало, чтобы вместить все израильское национальное собрание активистов движения за мир. Мы могли буквально пересчитать себя по пальцам, крошечное меньшинство среди меньшинств. Сегодня все иначе.

More than half the nation is with us.... Yet the Palestinians said no.²¹

Forget for a moment how Israel turns into the victim through this representation. Note rather how much of the war between narratives is being put upon the shoulders of the “sincerity” of the “honest writer.”

The text is, of course, a mixture of truth and fiction. Oz’s children grew up in a kibbutz, and if they suffered there it was never because of his political positions back in 1967.²² Yet in France, as in England or Germany, he is a representative of a nation, and as such he plays a role within the European need for an Other that is part of the *European*, an imaginary that denies the Muslim, the Arab, or, if you wish, the colonial present. There is no better theme via which to examine this than that for which Amos Oz became the principal tribune in the West: the Palestinian right of return as the desire to liquidate Israel, the Jews, to drown them in an Arab flood of refugees. The European fear of waves of Muslim immigrants was fully exploited here. This is Oz, after the collapse of the Camp David talks in August 2000:

Yet the Palestinians said no. They insist on their “right of return,” when we all very well know that around here “right of return” is an Arab euphemism for the liquidation of Israel. Mr. Arafat doesn’t insist on merely the right to a Palestinian state, a right I fully support. Now he demands that the Palestinian exiles should return not only to Palestine, but also to Israel, thus upsetting the demographic balance and eventually turning Israel into the 26th Arab country.²³

Perhaps he did not mean to mislead. Who cares? He was not present at Camp David. He could have written: “I wasn’t present at Camp David but I am told by Israeli delegates that Arafat demands that the Palestinian refugees should return not only to Palestine, but also to Israel.” But, in fact, he did not need to do so. His statement was accepted as truth merely because a “progressive Israeli” had

Более половины нации с нами... И все же палестинцы сказали «нет».²¹

Забудьте на мгновение о том, как Израиль в этом представлении превращается в жертву. Обратите внимание, насколько большая часть войны между нарративами возлагается на «искренность» «честного писателя».

Текст, разумеется, представляет собой смесь правды и вымысла. Дети Оза выросли в киббуце, и если они там и страдали, то никогда не потому, что о своих политических взглядах еще в 1967 году.²² Однако во Франции, как и в Англии или Германии, он является представителем нации, и в этом качестве он играет роль в европейской потребности в «Другом», который является частью... *Европейский* Это воображаемое пространство, отрицающее мусульманское, арабское или, если хотите, колониальное настоящее. Нет лучшей темы для исследования этого вопроса, чем та, благодаря которой Амос Оз стал главным трибуном на Западе: право палестинцев на возвращение как стремление ликвидировать Израиль, евреев, утопить их в арабском потоке беженцев. Европейский страх перед волнами мусульманских иммигрантов был здесь в полной мере использован. Вот Оз после провала переговоров в Кэмп-Дэвиде в августе 2000 года:

Однако палестинцы ответили отказом. Они настаивают на своем «праве на возвращение», хотя мы все прекрасно знаем, что здесь «право на возвращение» — это арабский эвфемизм для ликвидации Израиля. Господин Арафат настаивает не просто на праве на палестинское государство, праве, которое я полностью поддерживаю. Теперь он требует, чтобы палестинские изгнанники вернулись не только в Палестину, но и в Израиль, тем самым нарушая демографический баланс и в конечном итоге... превращая Израиль в 26-ю арабскую страну.²³

Возможно, он не хотел ввести в заблуждение. Какая разница? Он не присутствовал в Кэмп-Дэвиде. Он мог бы написать: «Я не присутствовал в Кэмп-Дэвиде, но израильские делегаты сообщили мне, что Арафат требует, чтобы палестинские беженцы вернулись не только в Палестину, но и в Израиль». Но на самом деле ему не нужно было этого делать. Его заявление было принято за правду лишь потому, что «прогрессивный израильтянин»

enunciated it. This was sufficient proof for latent Western colonialism to accept it.

Indeed, this idea became the main theme of Israeli propaganda four months later, in December 2000. The IDF failed to put the riots down despite extreme violence. The promises we were all given that there were plans, well prepared in advance, to teach them a lesson, were now drifting like old newspapers in a pool of blood—now also Jewish blood, spilled in a Palestinian terrorist campaign, which was instigated by Israel's assassination policy of Palestinian leaders (which began in November 2000). Barak was due to lose the election to his old mentor, Ariel Sharon. Suddenly, an intensive campaign against the "Palestinian demand for the right of return" was launched. The Israeli press had been full of critiques of the Palestinian demand for that right, four months before the aforementioned winter in Camp David. On December 14, 2000, I was approached by a nice professor from Peace Now's leadership, who told me plainly: "Now we must all write against the right of return."

And, abroad, it was again Amos Oz, who had already carried the torch of that particular Truth, who contributed his dose of rhetoric on the subject. Let us see some examples of this swift fabrication of a political agenda. Here is Amos Oz in *Le Monde*, on January 9, 2001:

In Israel, the party of peace should now reconsider its position: for thirty years, we have repeatedly said that peace could not come about while Israel administered another nation. Some even claimed that it is because Israel persisted in administering another nation that peace escaped our grasp. But our government is no longer persisting in this direction ...

The Palestinian nation rejects this peace. Its leaders now openly affirm the right to return of hundreds of thousands of Palestinians who were chased from or fled their homes during the 1948 war, all the while cynically refusing to recognize the fate of hundreds of thousands of Jews who were chased from or fled their homes in Arab countries during the same war.²⁴

Сформулировали это. Этого было достаточно, чтобы скрытый западный колониализм принял это.

Действительно, эта идея стала главной темой израильской пропаганды четыре месяца спустя, в декабре 2000 года. ЦАХАЛ не смог подавить беспорядки, несмотря на крайнее насилие. Обещания, которые нам всем давали о наличии заранее подготовленных планов, чтобы преподать им урок, теперь плавали, как старые газеты в луже крови — теперь еще и еврейской крови, пролитой в ходе палестинской террористической кампании, спровоцированной политикой Израиля по убийству палестинских лидеров (начавшейся в ноябре 2000 года). Барак должен был проиграть выборы своему старому наставнику Ариэлю Шарону. Внезапно началась интенсивная кампания против «палестинского требования права на возвращение». Израильская пресса была полна критики палестинского требования этого права за четыре месяца до вышеупомянутой зимы в Кэмп-Дэвиде. 14 декабря 2000 года ко мне подошел приятный профессор из руководства организации «Мир сейчас» и прямо сказал: «Теперь мы все должны писать против права на возвращение».

А за рубежом Амос Оз, уже несущий факел этой истины, снова внес свой вклад, выступив с риторикой на эту тему. Давайте рассмотрим несколько примеров быстрого создания политической повестки дня. Вот Амос Оз в *Le Monde* 9 января 2001 года:

В Израиле партии мира следует пересмотреть свою позицию: на протяжении тридцати лет мы неоднократно заявляли, что мир невозможен, пока Израиль управляет другой страной. Некоторые даже утверждали, что именно потому, что Израиль упорно продолжал управлять другой страной, мир ускользал от нас. Но наше правительство больше не упорствует в этом направлении...

Палестинский народ отвергает этот мир. Его лидеры теперь открыто заявляют о праве на возвращение сотен тысяч палестинцев, изгнанных из своих домов или бежавших от них во время войны 1948 года, при этом цинично отказываясь признать судьбу сотен тысяч евреев, изгнанных из своих домов или бежавших от них.

Арабские страны во время той же войны.²⁴

Then came a trail of articles which all responded to the same interpellation. There was no particularly good reason for A. B. Yehoshua to write a long article for *Libération* in January, when no new political argument had been revealed against the “return,” or for David Grossman, at about the same time, to do the same on a Jewish website. (Of course, most of those articles appeared in many languages, as part of the Israeli propaganda campaign.)

It is important to end this discussion with two comments. First, the Palestinians did not raise the issue of the right of return at Camp David. As *Haaretz* revealed some years later:

In a lecture at Princeton University in March 2002, Prof. Mati Steinberg [until the middle of 2003 a special advisor to the head of Shin Bet] argued that the Camp David summit failed because of the dispute over the Temple Mount—not over the issue of the right of return, *which was barely discussed at that summit and was born retrospectively in Israel in order to create the internal consensus* [my emphasis].²⁵

I am not going to discuss the tragedy of a writer who trusted the state apparatus because of his extreme *étatisme*, his almost erotic attraction to military generals. I am interested in the march of French fools who followed that Israeli spin of January 2001. Eli Wiesel wrote thus nine days after Amos Oz renewed his campaign against the return:

The Palestinians are also insisting on the “right to return” of more than 3 million refugees. On this, Israel is united in its refusal. The most fervent pacifists, including the great writers Amos Oz, A. B. Yehoshua and David Grossman, are publicly opposed. And vigorously so. The solution of a massive return is unthinkable. To bring 3 million Palestinians to Israel would mean its physical suicide, which is something that no Israeli of good faith can accept.²⁶

Note the importance of the namedropping, of swearing by certain names. This is how the colonial now returns: in the name of the

Затем последовала череда статей, каждая из которых отвечала на один и тот же вопрос. У А.Б. Йехошуа не было никаких веских причин писать длинную статью. *Освобождение* В январе, когда не появилось никаких новых политических аргументов против «возвращения», или в пользу того, чтобы Давид Гроссман примерно в то же время сделал то же самое на еврейском веб-сайте. (Конечно, большинство этих статей появились на многих языках в рамках израильской пропагандистской кампании.)

Важно завершить эту дискуссию двумя замечаниями. Во-первых, палестинцы не поднимали вопрос о праве на возвращение в Кэмп-Дэвиде. *Хаарец* стало известно несколько лет спустя:

В лекции, прочитанной в Принстонском университете в марте 2002 года, профессор Мати Штейнберг [до середины 2003 года специальный советник главы Шин Бет] утверждал, что саммит в Кэмп-Дэвиде провалился из-за спора вокруг Храмовой горы, а не из-за вопроса о праве на возвращение. *который практически не обсуждался на том саммите и был создан задним числом в Израиле с целью сформировать внутренний консенсус*[[мой акцент]].²⁵

Я не собираюсь обсуждать трагедию писателя, который доверял государственному аппарату из-за своих крайних взглядов. *этатизм* Его почти эротическое влечение к военным генералам. Меня интересует марш французских дураков, которые последовали за израильской пропагандой января 2001 года. Эли Визель написал это через девять дней после того, как Амос Оз возобновил свою кампанию против возвращения:

Палестинцы также настаивают на «праве на возвращение» более 3 миллионов беженцев. В этом вопросе Израиль единодушен в своем отказе. Самые ярые пацифисты, включая таких выдающихся писателей, как Амос Оз, А. Б. Йехошуа и Давид Гроссман, публично выступают против. И делают это очень решительно. Решение о массовом возвращении немыслимо. Привезти 3 миллиона палестинцев в Израиль означало бы его физическое самоубийство, что само по себе неприемлемо.

с этим не может смириться ни один добросовестный израильтянин.²⁶

Обратите внимание на важность упоминания известных имен, на использование определенных прозвищ. Вот как возвращается колониальное прошлое: во имя...

victims. When Eli Wiesel is called to the flag, everything becomes about the annihilation of the Jews. Even Oz was already talking—during the raids of F16 on homes and shacks in Palestine, during curfews and hunger, during the long winter without electricity—about the “liquidation of Israel.” Two weeks later, on February 7, 2001, Claude Lanzmann wrote with even greater melodramatic fervor:

Here too, the bearings have been lost. Amos Oz says, for example (*Le Monde*, January 9): “The return of the refugees is the death of Israel.” He adds immediately, it is the meaning of his words, that they will have their state and we will have ours, let us build a wall of separation, a great wall of China—to each his own sovereignty; and if they attack us, then it will mean war. The emblematic newspaper of the Israeli left, *Haaretz*, writes today the same thing. This dream of separation demonstrates well the point at which the situation is tied into a Gordian and passion-filled knot. Without the Israelis, the Arab Palestinians will not be able to live, and the Filipinos called over by Israel from the other end of Asia will not help to appease Palestinian irredentism any more than did Sino-Israeli relations, as the late Rabin thought. All this also is now part of the problem, like the de facto internationalization that the Palestinians have so brilliantly achieved. It remains to be seen whether Israel will one day become a target for NATO, but that’s another story: these Jews are even more skilled than the Americans with intelligent weapons.²⁷

As you can see, the Holocaust was already on the march in the streets of Paris, whereas in Nablus and Gaza the number of Palestinian victims was rising every day. And the march of pro-Israeli propaganda went on. Here is Arno Klarsfeld, shamelessly, now with no hesitation in repeating the jingle:

The root cause is the refusal of the Arab and Palestinian leaders to accept the State of Israel as a Jewish state. The failure of the negotiations at Camp David and Taba is due to

жертвы. Когда Эли Визель поднимает флаг, все сводится к уничтожению евреев. Даже Оз уже говорил во время рейдов F16 на дома и лачуги в Палестине, во время комендантского часа и голода, во время долгой зимы без электричества — о «ликвидации Израиля». Две недели спустя, 7 февраля 2001 года, Клод Ланцманн написал с еще большим мелодраматическим пылом:

Здесь тоже потеряны ориентиры. Амос Оз, например, говорит (*Le Monde* 9 января): «Возвращение беженцев — это смерть Израиля». Он тут же добавляет, что смысл его слов в том, что у них будет своё государство, а у нас — своё, давайте построим разделительную стену, великую китайскую стену, где у каждого будет свой суверенитет; а если они нападут на нас, это будет означать войну. Эта знаковая газета израильских левых... *Хаарец* Сегодня он пишет то же самое. Эта мечта о разделении хорошо демонстрирует точку, в которой ситуация завязана в гордиев узел, полный страстей. Без израильтян арабские палестинцы не смогут жить, а филиппинцы, призванные Израилем с другого конца Азии, не помогут успокоить палестинский ирредентизм так же, как не помогли китайско-израильские отношения, как считал покойный Рабин. Все это также теперь является частью проблемы, как и фактическая интернационализация, которую палестинцы так блестяще осуществили. Остается только посмотреть, станет ли Израиль когда-нибудь мишенью для НАТО, но это уже другая история: эти евреи еще более

Они более искусны в обращении с интеллектуальным оружием, чем американцы.²⁷

Как видите, Холокост уже вовсю шествовал по улицам Парижа, в то время как в Наблусе и Газе число палестинских жертв росло с каждым днем. И марш произраильской пропаганды продолжался. Вот Арно Кларсфельд, беззастенчиво повторяющий эту мелодию:

Первопричина кроется в отказе арабских и палестинских лидеров признать Государство Израиль еврейским государством. Провал переговоров в Кэмп-Дэвиде и Табе объясняется следующими причинами:

the will of the Palestinians to impose on Israel the right to return for the Palestinian refugees and their descendants.²⁸

And then, of course—how could we leave him out?—came Bernard-Henri Lévy:

I would say, like Amos Oz, that the inscription of the right to return at the head of the demands of the PLO is a pure provocation, because this right means no longer one but two Palestinian states: the first here, straightaway, on the restituted territories; the other, later, in Israel itself, when the millions of refugees allowed to return will have turned the Jewish state into a majority-Palestinian country.²⁹

Why was it so easy to spread these particular lies? Why were these representatives of Israel—Oz, Yehoshua, Grossman, Yovel and others—so easily accepted by the French media, using such cheap arguments? The discourse was stuffed with primitive images, nourished by the French racist fear of immigrants. With all those texts vibrating the image of millions of refugees entering Jewish Israel and turning it into an Arab country, the “non-European danger” was already in the air. In fact, it had never really disappeared, only now the old xenophobia had found itself new prophets.

воля палестинцев навязать Израилю право на возвращение палестинских беженцев и их потомков.²⁸

И, конечно же, как же мы могли его обойти стороной? — появился Бернар-Анри Леви:

Я бы сказал, как и Амос Оз, что включение права на возвращение в число требований ООП — это чистая провокация, потому что это право означает уже не одно, а два палестинских государства: первое — здесь, сразу же, на возвращенных территориях; второе — позже, в самом Израиле, когда миллионы беженцев, которым будет разрешено вернуться, перейдут на другую сторону.

Превратить еврейское государство в страну с палестинским большинством населения.²⁹

Почему так легко было распространять именно эту ложь? Почему французские СМИ так легко приняли этих представителей Израиля — Оза, Йехошуа, Гроссмана, Йовеля и других — используя такие дешевые аргументы? Дискурс был наполнен примитивными образами, подпитываемыми французским расистским страхом перед иммигрантами. Все эти тексты, вибрирующие образом миллионов беженцев, въезжающих в еврейский Израиль и превращающих его в арабскую страну, уже витали в воздухе, создавая ощущение «неевропейской опасности». На самом деле, она никогда и не исчезала, просто теперь старая ксенофобия обрела новых пророков.

3

It Takes a Lot of Darkness and Self-Love to Merge “Us” with “You”: Amos Oz’s A Tale of Love and Darkness

I look upon Israel as if it were a young girl, after all, I am older than my country. It is not yet ripe, but is gradually ripening. I do not know how much longer she may need. Be that as it may, this country—for better or worse—stands steadier today than it did twenty years ago. More and more people have come to understand what may and what may not be expected, and at what price.¹

Instead of a Foreword

Going through the “reviews” in the French press of Amos Oz’s autobiography, *A Tale of Love and Darkness*, one might get the impression that France is a totalitarian state and that all reviewers have to produce the same articles. Some might say that the publisher Gallimard did an excellent job of public relations for the book and managed to extract from every critic and reviewer the same superlatives, while guaranteeing the total lack of discussion of

3

Для этого требуется много тьмы и любви к себе.

Объединить «нас» и «вас»: Амос Оза

История

Любовь и тьма

Я смотрю на Израиль как на молодую девушку, ведь я старше своей страны. Он еще не созрел, но постепенно созревает. Я не знаю, сколько еще ему понадобится времени. Как бы то ни было, эта страна — к лучшему или к худшему — сегодня стоит прочнее, чем двадцать лет назад. Все больше людей начинают понимать, что может быть, а что нет.

Ожидается, и по какой цене.¹

Вместо предисловия

Просматривая «рецензии» во французской прессе на автобиографию Амоса Оза, *История любви и тьмы* Может сложиться впечатление, что Франция — тоталитарное государство, и все рецензенты должны писать одни и те же статьи. Некоторые могут сказать, что издательство Gallimard проделало отличную работу по связям с общественностью и сумело выжать из каждого критика и рецензента одни и те же превосходные степени, гарантируя при этом полное отсутствие обсуждения.

any literary dimension. Worse than that: the writer was sold as if he himself was the book. I shall quote very little from this treasure trove of mediocrity, yet this is the theme that accompanies the reception of the book: “Behind the trajectory of the writer, born in Jerusalem in 1939, there is the trajectory of a whole people.”² To give you just one little sociological example relevant to this assessment: the autobiography does not have a single non-Ashkenazi character. How can it be “the trajectory of a whole people” given that our nation is composed of 60 percent non-Ashkenazi Jews? During the period when the interviews and the reviews were being published, the occupation—which was already total, lawless, and more violent than ever—appears only when Oz accuses French intellectuals of being “anti-Israeli.” The Palestinians are not mentioned at all. Oz is taken for granted as a man of peace in a way I described in [Chapter 2](#). I am not going to “argue” with the long line of reciters in that chorus line. But the subject of the book is a kind of mirror image: loving Amos Oz is loving oneself. Here is a typical paragraph, which reads like official Israeli propaganda.

All the Jewish settlements that were captured by the Arabs in the War of Independence, without exception, were razed to the ground, and their Jewish inhabitants were murdered or taken captive or escaped, but the Arab armies did not allow any of the survivors to return after the war. The Arabs implemented a more complete “ethnic cleansing” in the territories they conquered than the Jews did: hundreds of thousands of Arabs fled or were driven out from the territory of the State of Israel in that war, but a hundred thousand remained, whereas there were no Jews at all in the West Bank or the Gaza Strip under Jordanian and Egyptian rule. Not one. The settlements were obliterated, and the synagogues and cemeteries were razed to the ground.³

Expert propagandist that he is, Amos Oz well understands how much more powerful “complete ‘ethnic cleansing’” is than partial ethnic cleansing. He therefore takes great pains to describe minutely the “extermination of the Jewish nation” in the territories behind the

Любое литературное измерение. Хуже того: писателя продавали так, будто он сам и есть эта книга. Я буду цитировать лишь немного из этого кладеза посредственности, но вот тема, которая сопровождает восприятие книги: «За кулисами пути писателя, родившегося в Иерусалиме в 1939 год – это траектория развития целого народа.² Приведу лишь один небольшой социологический пример, имеющий отношение к этой оценке: в автобиографии нет ни одного персонажа неашкеназского происхождения. Как она может быть «траекторией целого народа», если наша страна на 60 процентов состоит из евреев неашкеназского происхождения? В период публикации интервью и рецензий оккупация — которая уже была тотальной, незаконной и более жестокой, чем когда-либо — упоминается только тогда, когда Оз обвиняет французских интеллектуалов в «антиизраильских» настроениях. Палестинцы вообще не упоминаются. Оз воспринимается как человек мира, как я уже описывал ранее. Глава 2 Я не собираюсь «спорить» с длинным рядом чтецов в этом припеве. Но тема книги — своего рода зеркальное отражение: любить Амоса Оза — значит любить себя. Вот типичный абзац, который читается как официальная израильская пропаганда.

Все еврейские поселения, захваченные арабами в Войне за независимость, без исключения, были сравнены с землей, а их еврейские жители были убиты, взяты в плен или бежали, но арабские армии не позволили никому из выживших вернуться после войны. Арабы провели более полную «этническую чистку» на завоеванных территориях, чем евреи: сотни тысяч арабов бежали или были изгнаны с территории Государства Израиль в той войне, но сто тысяч остались, в то время как на Западном берегу или в секторе Газа под иорданским и египетским правлением евреев вообще не было. Ни одного. Поселения были уничтожены, и

Синагоги и кладбища были сравнены с землей.³

Будучи опытным пропагандистом, Амос Оз прекрасно понимает, насколько эффективнее «полная этническая чистка», чем частичная. Поэтому он прилагает огромные усилия, чтобы подробно описать «истребление еврейского народа» на территориях, находящихся за пределами...

“green line,” without specifying numbers of villages or victims. It is an absolute we’re talking about—a veritable genocide, one after which no trace remains of the annihilated nation. Thus: “*All* the Jewish settlements that were captured by the Arabs in the War of Independence, *without exception*, were razed to the ground, and their Jewish inhabitants were murdered or taken captive or escaped, but the Arab armies did *not* allow *any* of the survivors to return after the war.” In the face of this totality, the Jews are seen to have committed something far less genocidal, especially when compared to what the obliterators of their memory did to them: “hundreds of thousands of Arabs fled or were driven out from the territory of the State of Israel in that war, but a hundred thousand remained.” The comparison is not over. By way of conclusion, Oz reverts to the same extermination that has already been planted in our brain, with some additional details that serve to echo the Holocaust: “there were no Jews at all in the West Bank or the Gaza Strip under Jordanian and Egyptian rule. Not one. The settlements were obliterated, and the synagogues and cemeteries were razed to the ground.” Numbers appear only in the central section of the equation. At both ends—the opening and the conclusion that horrify and flabbergast the reader—there is only unadulterated atrocity. This, of course, is an old trick of salesmanship. Please note—the Palestinians are not mentioned in the equation, only “Arabs”; the result is the semantic parcelling up of the Egyptian army (Kfar Darom in the Gaza Strip) and the Arab [Jordanian] Legion (Gush Ezion and the Old City of Jerusalem).

The ruin of the Palestinian people—four hundred of whose villages were laid waste, who were reduced to negligible numbers, racially discriminated against and poverty-stricken minorities in their own cities, and hundred of thousands of whom lost all they possessed, including the chance of human existence—this ongoing destruction, which continued as Oz wrote his book, is turned in the citation above into a not-so-frightful event, the situation of many other peoples being far worse, for example the fate of the Jews in Israel. This is the only time the disaster which affects our life to this day is described in the book. This is all that Oz has to say about events that took place during his lifetime. But it is even more cynical than that. Oz has never employed the term “ethnic cleansing” in

«Зеленая линия», без указания количества деревень или жертв. Речь идет об абсолютном факте — настоящем геноциде, после которого не остается и следа уничтоженной нации. Таким образом: «*Все* Еврейские поселения, захваченные арабами во время Войны за независимость, *без исключения* были сравнены с землей, а их еврейские жители были убиты, взяты в плен или бежали, но арабские армии этого не сделали. *нет* позволять *любой*» из числа выживших, которые должны были вернуться после войны». На фоне этой всеобъемлющей картины евреи, как представляется, совершили нечто гораздо менее геноцидное, особенно по сравнению с тем, что сделали с ними те, кто стёр им память: «сотни тысяч арабов бежали или были изгнаны с территории Государства Израиль во время той войны, но сто тысяч остались». Сравнение на этом не заканчивается. В заключение Оз возвращается к тому же истреблению, которое уже запечатлелось в нашем сознании, с некоторыми дополнительными деталями, которые перекликаются с Холокостом: «на Западном берегу или в секторе Газа под иорданским и египетским правлением евреев вообще не было. Ни одного. Поселения были уничтожены, а синагоги и кладбища сравнены с землёй». Цифры появляются только в центральной части уравнения. На обоих концах — в начале и в заключении, которые ужасают и ошеломляют читателя, — царит лишь неприкрытая жестокость. Это, конечно, старый маркетинговый трюк. Обратите внимание: палестинцы в уравнении не упоминаются, только «арабы»; в результате происходит семантическое разделение египетской армии (Кфар-Даром в секторе Газа) и арабского [иорданского] легиона (Гуш-Эцион и Старый город Иерусалима).

Гибель палестинского народа — четыреста деревень, опустошенных в результате разрушений, численность населения, подвергавшегося расовой дискриминации и нищете в собственных городах, и сотни тысяч людей, потерявших все свое имущество, включая возможность существования — это продолжающееся разрушение, которое продолжалось и во время написания книги Оза, в приведенной выше цитате превращается в не столь уж ужасное событие, поскольку положение многих других народов гораздо хуже, например, судьба евреев в Израиле. Это единственный случай, когда в книге описывается катастрофа, влияющая на нашу жизнь по сей день. Это все, что Оз может сказать о событиях, произошедших при его жизни. Но это еще более цинично. Оз никогда не использовал термин «этническая чистка».

relation to the conduct of the Israel Defense Forces (IDF) in 1948. Now he does so only in order to say, if it happened, another ethnic cleansing was perpetrated that was far worse, a “real” ethnic cleansing. He would not have used the phrase at all, had the writing of that particular autobiography addressed only Hebrew readers. No one in Israel, except for a few leftists, ever uses the term “ethnic cleansing” in relation to 1948. The book was written for the European mirror glass.

The book itself, apart from this poisonous paragraph, along with a few others, is a cunning work of flattery of both the Hebrew reader and the reader in the West, with the kind help of translators and editors that saved the Western readers some of the most embarrassing parts of that book, to which we were exposed in the original. History in *A Tale of Love and Darkness* tenaciously rides astride the back of the family of Oz the child. This is how his description of the April 13, 1948 massacre of the Jewish convoy to the Mount of Scopus begins: his father was supposed to form a part of the convoy. Luckily for him, he ran a temperature on the evening before and that saved him. His father’s close escape does not save us from an almost bewilderingly detailed description of this of all massacres.

My father was supposed to go up to Mount Scopus in that very convoy, on April 13, 1948, in which seventy-seven doctors and nurses, professors and students were murdered, many of them burnt alive. He had been instructed by the National Guard, or perhaps by his superiors in the National Library, to go and lock up certain sections of the basement stores of the Library, since Mount Scopus was cut off from the rest of the city.⁴

But since the book is brimming with writers and intellectuals, it is worth noting that here the “intellectuality” of the Jewish victims of the massacre is underscored: “doctors and nurses, professors and students.” However, since this massacre came in the wake of, and probably in retaliation for, the Deir Yassin massacre, Oz strings on the following passage:

Он не упоминает о действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в 1948 году. Теперь же он делает это лишь для того, чтобы сказать, что если это и произошло, то была совершена еще одна этническая чистка, гораздо худшая, «настоящая» этническая чистка. Он бы вообще не использовал эту фразу, если бы его автобиография была адресована только читателям на иврите. Никто в Израиле, за исключением нескольких левых, никогда не использует термин «этническая чистка» в отношении 1948 года. Книга написана для европейского зеркала.

Сама книга, за исключением этого ядовитого абзаца и нескольких других, представляет собой хитроумную попытку польстить как ивритскому читателю, так и западному читателю, при любезной помощи переводчиков и редакторов, которые избавили западных читателей от некоторых наиболее неловких моментов этой книги, с которыми мы столкнулись в оригинале. История в *История любви и тьмы* Он упорно едет верхом на спине семьи Оза-младенца. Так начинается его описание резни еврейского конвоя 13 апреля 1948 года на горе Скопус: его отец должен был быть в составе конвоя. К счастью для него, накануне вечером у него поднялась температура, и это его спасло. Однако то, что его отцу чудом удалось избежать ужаса, не избавляет нас от почти ошеломляюще подробного описания этой из всех массовых расправ.

Мой отец должен был отправиться на гору Скопус в том самом конвое 13 апреля 1948 года, когда были убиты семьдесят семь врачей и медсестер, профессоров и студентов, многие из которых были сожжены заживо. Национальная гвардия, или, возможно, его начальство в Национальной библиотеке, приказали ему запереть некоторые секции подвальных складов библиотеки, поскольку гора Скопус была отрезана от остального мира.

остальная часть города.⁴

Но поскольку книга изобилует именами писателей и интеллектуалов, стоит отметить, что здесь подчеркивается «интеллектуальность» еврейских жертв резни: «врачей и медсестер, профессоров и студентов». Однако, поскольку эта резня произошла вслед за резней в Дейр-Ясине и, вероятно, в отместку за нее, Оз добавляет следующий отрывок:

Four days after Irgun and Stern Gang forces captured the Arab village of Deir Yassin to the west of Jerusalem and butchered many of its inhabitants, armed Arabs attacked the convoy, which, at half past nine in the morning, was crossing Sheikh Jarrah on its way to Mount Scopus ... (The Hadassah Hospital served not just the Jewish population but all the inhabitants of Jerusalem.)⁵

Thus: "... butchered many of its inhabitants ...," that's all, after the previous detailed description: "...seventy-seven doctors and nurses, professors and students were murdered, many of them burnt alive." The hospital, by the way, served the public at large; how inhuman of the Arabs! The description of the massacre of the convoy continues:

There were two ambulances in the convoy, three buses whose windows had been reinforced with metal plates for fear of snipers, several lorries carrying supplies including medical supplies, and two small cars ... In the heart of the Arab neighborhood, almost at the feet of the villa of the Grand Mufti Haj Amin al-Husseini, the exiled pro-Nazi leader of the Palestinian Arabs, at a distance of a hundred and fifty yards or so from the Silwani Villa, the leading vehicle went over a landmine.⁶

The massacre of the convoy is described in greater detail than we have space here to relate in full. Worthy of note, however, is that all of a sudden the name "Palestinian" replaces "Arab" in the description of the "ethnic cleansing." How does it make its appearance? Precisely in the mode of Israeli propaganda through the ages—from Ben Gurion to Netanyahu—in which the Mufti has played the role of full partner to the extermination, the Mufti who was not even in Jerusalem anymore at the time of the massacre.⁷ But Oz is not really writing his memoir. The following is the reason for the details. It comes at the very end of the horrifying description:

Not long after this massacre, the Haganah launched major offensives for the first time all over the country, and

Через четыре дня после того, как силы Иргуна и Штерна захватили арабскую деревню Дейр-Ясин к западу от Иерусалима и зверски убили многих ее жителей, вооруженные арабы напали на колонну, которая в половине десятого утра пересекала Шейх-Джаррах по пути к горе Скопус... (Больница Хадасса обслуживала не только еврейское население, но и всех остальных) (жители Иерусалима.)⁵

Итак: «...было зверски убито много его жителей...», и это всё, после предыдущего подробного описания: «...были убиты семьдесят семь врачей и медсестер, профессоров и студентов, многие из них сожжены заживо». Больница, кстати, обслуживала широкую публику; как бесчеловечно со стороны арабов! Описание резни конвоя продолжается:

В колонне было две машины скорой помощи, три автобуса, окна которых были усилены металлическими пластинами из-за опасений снайперов, несколько грузовиков, перевозивших грузы, в том числе медикаменты, и два небольших автомобиля... В самом центре арабского квартала, почти у подножия виллы Великого муфтия Хаджа Амина аль-Хусейни, изгнанного пронацистского лидера палестинских арабов, примерно в ста пятидесяти ярдах от виллы Сильвани, головная машина переехала через... мину.⁶

Расстрел конвоя описан более подробно, чем мы можем здесь полностью изложить. Однако стоит отметить, что внезапно в описании «этнической чистки» имя «палестинский» заменяет имя «араб». Как оно появляется? Именно в том стиле израильской пропаганды на протяжении веков — от Бен-Гуриона до Нетаньяху, — в котором муфтий играл роль полноправного соучастника истребления, муфтий, который даже не был в Иерусалим уже не существовал на момент резни.⁷ Но Оз на самом деле не пишет мемуары. Вот причина, по которой приводятся эти подробности. Они приводятся в самом конце ужасающего описания:

Вскоре после этой резни «Хагана» впервые начала масштабные наступления по всей стране, и

threatened to take up arms against the British army if it dared to intervene.⁸

This, in a nutshell, is the 1948 narrative. Deir Yassin is marginal. And then, from the comparison between Jews and Arabs, the causality emerges: *they* started it. Not only it is a false way of presenting the causal sequence of events—the simple fact is that by April 1948 the ethnic cleansing was already in full flow, for it began directly after November 1947—but it shows no sign of any “self-criticism,” or reassessment. For years, Israelis learned to pay no attention to Palestinian claims or stories. Oz obeys this injunction to an extent that no one else could get away with, for he represents an “ideal” for his readers.

Unsurprisingly, the critics in Israel were part of the “new consensus” that we witnessed between October 2000 and July 2006. None of them cited the paragraph on the “ethnic cleansing,” none mentioned the reorganization of the 1948 narrative. Unlike the French reviewers, who did not read the whole book, there is no doubt that it was read carefully in Israel, and Professor Dan Laor, a Hebrew literature professor wrote: “the barrier between literature and reality was thinned down, and the structuring of the tale, with its varied elements, created an impression of authenticity.” He then compared the book and its merits with Marcel Proust’s *A la recherche du temps perdu*.

How is it that to European journalists Oz always appears to be a peace movement activist? Well, aside from Gallimard’s success in marketing, the explanation lies in interviews such as the following, published in *Le Monde*:

The conflict between Israeli Jews and Palestinian Arabs brings together all the elements of a tragedy in the classical sense of the term. Two peoples confront one another, each sure it is in the right. The Palestinians want to regain their land. They have no other country that they can call “home.” The Jews claim the same land, and the Israeli Jews have no other country that they can call “home.” Here then are two

угрожали взять в руки оружие против британской армии, если та осмелится вмешаться.⁸

Вкратце, такова картина событий 1948 года. Дейр-Ясин — маргинальная фигура. А затем, из сравнения евреев и арабов, вырисовывается причинно-следственная связь: *они* Это положило начало всему. Мало того, что это ложный способ представления причинно-следственной связи событий — простой факт в том, что к апрелю 1948 года этнические чистки уже шли полным ходом, поскольку начались сразу после ноября 1947 года, — так это еще и не демонстрирует никаких признаков «самокритики» или переоценки. Годами израильтяне научились не обращать внимания на заявления или рассказы палестинцев. Оз подчиняется этому предписанию в такой степени, в какой никто другой не смог бы, поскольку он представляет собой «идеал» для своих читателей.

Неудивительно, что израильские критики были частью «нового консенсуса», который мы наблюдали в период с октября 2000 по июль 2006 года. Никто из них не упомянул параграф об «этнических чистках», никто не упомянул реорганизацию повествования 1948 года. В отличие от французских рецензентов, которые не читали книгу целиком, нет сомнений, что в Израиле ее читали внимательно, и профессор Дан Лаор, преподаватель ивритской литературы, написал: «барьер между литературой и реальностью был истончен, а структура повествования с его разнообразными элементами создавала впечатление подлинности». Затем он сравнил книгу и ее достоинства с произведениями Марселя Пруста. *A la recherche du temps perdu*.

Как так получается, что европейским журналистам Оз всегда представляется активистом движения за мир? Помимо маркетингового успеха Gallimard, объяснение кроется в таких интервью, как следующее, опубликованное в *Le Monde*:

Конфликт между израильскими евреями и палестинскими арабами объединяет в себе все элементы трагедии в классическом смысле этого слова. Два народа противостоят друг другу, каждый уверен в своей правоте. Палестинцы хотят вернуть свою землю. У них нет другой страны, которую они могли бы назвать «домом». Евреи претендуют на ту же землю, и у израильских евреев нет другой страны, которую они могли бы назвать «домом». Таким образом, перед нами две

homeless peoples who claim the same homeland ... It's a tragedy.⁹

But where is the tragedy in Oz's description of the conflict? The total ethnic cleansing of the Jews or the slaughtered convoy do not constitute a tragedy but rather a pure melodrama, where the Jews, and Oz himself, of course, are the victims. It is not Racine, nor Corneille. At best it is Pixérécourt. That melodramatic genre is the only arena in which Oz is able to protect the little young woman, Israel. Why does he need that "tragic" analysis? It permits him to avoid any criticism of the Israeli side. It is so easy to evade politics by selling some images, empty words that convey nothing. Take that text Oz wrote for *Liberation*, on August 29, 2005, and see how easy it is not to say anything:

Israel and Palestine, for nearly forty years, are like the jailer and his prisoner, handcuffed one to the other. After so many years, there is almost no difference between them: the jailer is no freer than his prisoner.

Can a real writer be so indifferent to the suffering of human beings? Yes, if your career is being built on selling your own nation as a tourist package. Or, to be less sharp, Oz doesn't exist without his nationalist collective, and that collective has an *imaginaire*: a family is its protagonist, a very homogenized family to be sure; one may even say a family that is too good to be true.

Wisdom of the Aunt

The narrative past of *A Tale of Love and Darkness* lies somewhere in the nineteenth-century biographical chronicle of the family, and traverses periods of terrible trials and tribulations. The grandparents, very flatteringly described, were extraordinary people, according to the book. Their mode of speaking brings to mind Hebrew translations of Tolstoy and Chekhov. Not one of them is a "morbid" or "demonic" character or anything else out of the arsenal that Oz has often depicted in his narratives. On the other hand, though we constantly

Бездомные люди, которые претендуют на одну и ту же родину... Это трагедия.⁹

Но где же трагедия в описании конфликта Озом? Полная этническая чистка евреев или уничтоженный конвой — это не трагедия, а чистая мелодрама, где жертвами являются евреи, и, конечно же, сам Оз. Это не Расин и не Корнель. В лучшем случае это Пиксерекур. Этот мелодраматический жанр — единственная арена, на которой Оз может защитить маленькую молодую женщину, Израиль. Зачем ему этот «трагический» анализ? Он позволяет ему избежать любой критики израильской стороны. Так легко уклониться от политики, продавая какие-то образы, пустые слова, которые ничего не передают. Возьмем, к примеру, текст, который Оз написал для *Освобождение* 29 августа 2005 года, и посмотрите, как легко промолчать:

Израиль и Палестина на протяжении почти сорока лет подобны тюремщику и его заключенному, прикованным наручниками друг к другу. После стольких лет между ними почти нет разницы: тюремщик ничем не свободнее своего заключенного.

Может ли настоящий писатель быть настолько равнодушным к страданиям людей? Да, если ваша карьера строится на продаже собственной страны в качестве туристического пакета. Или, если говорить менее резко, страна Оз не существовала бы без своего националистического коллектива, и этот коллектив имеет *воображаемый* главным героем является семья, причем, безусловно, очень однородная; можно даже сказать, семья, которая слишком хороша, чтобы быть правдой.

Мудрость тёти

Повествовательное прошлое *История любви и тьмы* Книга находится где-то в биографической хронике семьи XIX века и охватывает периоды ужасных испытаний и невзгод. Бабушка и дедушка, описанные в книге весьма лестно, были, по мнению автора, необыкновенными людьми. Их манера говорить напоминает еврейские переводы Толстого и Чехова. Ни один из них не является «болезненным» или «демоническим» персонажем, или чем-то подобным из арсенала, который Оз часто изображал в своих повествованиях. С другой стороны, хотя мы постоянно

hear how erudite they were, and notwithstanding the fact that they lived through the most dramatic eras of our time, none of the family ever has anything of significance to say—a new insight, something we have not heard umpteen times previously. All is subsumed in the kind of banal wisdom you encounter waiting at the doctor's, or for the bus, though name dropping is rife.

The trouble with Trotsky and Lenin and Stalin and their friends, your grandfather thought, is that they tried to reorganise the whole of life, at a stroke, out of books, books by Marx and Engels and other great thinkers like them; they may have known the libraries very well, but they didn't have any idea about life, neither about malice nor about jealousy, envy, *rishes* or gloating at others' misfortunes. Never, never will it be possible to organise life according to a book! Not our *Shulhan Arukh*, not Jesus of Nazareth, and not Marx's *Manifesto*! Never!¹⁰

"They didn't have any idea about life," Amos Oz's aunt tells him and he relates this to his readers. We, all of us—the aunt, the writer and the readers—do have an idea about life, of course. Life does not follow *the book*, but is simply *life*. That's how it is. That's the wisdom.¹¹ What is bothersome in the deluge of names and the display of intellect via name dropping is the fact that no insight has been drawn regarding "life according to a book." The grandfather could have said, for instance, that even Moses imposed upon us a life according to a book (after all, Moses is "our very own" contribution to Western civilization—that is to say, there's good reason to parade him). Or else there might have been some true intellectual in the family, one who had read enough Freud to say that, tragically indeed, civilization itself compels us to live "life according to a book." Moreover, this is the context in which people understand their own lives, which is Oz's quest in this book anyway. And indeed, "life according to a book" is a nightmare, not only for the orthodox followers of Jesus or of the *Shulhan Arukh*, of Marx or Stalin, but even in our own liberal existence. And what of Zionism? Is that a "book" according to which one lives?¹² What about Herzl? Ben

Послушайте, какими эрудированными они были, и, несмотря на то, что они жили в самые драматичные эпохи нашего времени, никто из членов семьи никогда не говорит ничего значимого — ничего нового, чего мы не слышали бесчисленное количество раз раньше. Все это поглощено банальной мудростью, с которой сталкиваешься, ожидая приема у врача или автобуса, хотя упоминание известных имен встречается повсеместно.

Проблема Троцкого, Ленина, Сталина и их друзей, как думал ваш дед, заключалась в том, что они пытались одним махом перестроить всю жизнь из книг, книг Маркса, Энгельса и других великих мыслителей, подобных им; они, может быть, и хорошо знали библиотеки, но понятия не имели о жизни, ни о злобе, ни о ревности, зависти. *рисы* или злорадствовать над чужими несчастьями. Никогда, никогда не удастся организовать жизнь по книге! Не по нашей! *Шульхан Арух* Иисус из Назарета и не Маркс *Манифест*! Никогда!¹⁰

«Они понятия не имели о жизни», — говорит тётя Амоса Оза, и он делится этим со своими читателями. Конечно, все мы — тётя, писатель и читатели — имеем представление о жизни. Но жизнь не следует за этим. *книгано* это просто *жизнь* Так оно и есть. Вот так. мудрость.¹¹ Что особенно раздражает в этом потоке имен и демонстрации интеллекта посредством упоминания известных личностей, так это отсутствие каких-либо размышлений о «жизни по книге». Дедушка мог бы, например, сказать, что даже Моисей навязывает нам жизнь по книге (в конце концов, Моисей — это «наш собственный» вклад в западную цивилизацию, то есть есть веские причины выставлять его напоказ). Или же в семье мог бы быть какой-нибудь настоящий интеллектуал, тот, кто достаточно много читал Фрейда, чтобы сказать, что, как это ни трагично, сама цивилизация заставляет нас жить «жизнью по книге». Более того, именно в этом контексте люди понимают свою собственную жизнь, что, собственно, и является целью Оза в этой книге. И действительно, «жизнь по книге» — это кошмар, не только для ортодоксальных последователей Иисуса или... *Шульхан Арух* Маркса или Сталина, но даже в нашем собственном либеральном существовании. А что насчет сионизма? Это что, сионизм? «Книга», по которой человек живет?¹² А что насчет Герцля? Бен

Gurion? And the building of a new man, the new Jews, which Oz himself portrays in his novels “according to the book”—what about them? Not an insight on the horizon. And so on, through hundreds of pages over which Oz spills the names of dozens of writers—Homer, Ovid, Shakespeare, Goethe, Mickiewicz, Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev, Gnessin, Bialik, Agnon, Tchernikhowsky, Kafka and more. None of them is anonymous, none of them is “off the beaten path.” Not one of them is an idiosyncratic choice by a reader. In Oz’s family no one admired a marginal poet, one already lost to oblivion. None of them loved an unimportant author, suffered from a failure of judgement, had the taste of a different age, or read only the fashionable bestsellers of their youth—Stefan Zweig or Franz Werfel, Arthur Schnitzler or maybe even lesser works. After all, only a few of the books of any given era still stock our shelves today. But no, everything in this book belongs to the movement of History that has brought progress—in a kind of cultural teleology. Dear reader, should you have failed to read these classics, you can now imbibe of them indirectly through the mediation of Amos Oz’s aunts and grandmothers. This is the same classic canon as that of yesterday and the day before, for this is an eternal list and the Oz family has thrived under its protective shade. The narcissistic delight, dear reader, is all yours, thanks to the ideal self of the author.¹³

But after the roll call of names of writers that Oz mobilizes in order to present himself to the reader (as an object of love), one is astonished by the fact that nowhere in *A Tale of Love and Darkness* is there a description of anything from any of the books named, or any insight into any of the readers of all those books. So many authors are mentioned, and yet there is no trace of a testimony of anything having been actually read, only the excitement at the ability to attribute the reading of literature to someone. There is not one original, innovative reading, a shadow of an attempt to hold on to a literary memory, an artistic experience. It is as though the man has read literature and nothing meant anything to him at all beside his own life, or trauma. Only in this way can the following narcissistic outburst be interpreted: “So what do all these panting interviewers actually want from Nabokov and me?”¹⁴ Even Agnon, who enjoys the privilege of a personal description because the author had the

Гурион? А что насчет создания нового человека, новых евреев, которых сам Оз изображает в своих романах «по книге»? Никакого прозрения на горизонте. И так далее, на сотнях страниц, на которых Оз перечисляет имена десятков писателей — Гомера, Овидия, Шекспира, Гёте, Мицкевича, Чехова, Толстого, Достоевского, Тургенева, Гнесиных, Бялика, Агнона, Черниховского, Кафки и многих других. Ни один из них не анонимен, ни один не «в стороне от проторенной дороги». Ни один из них не является своеобразным выбором читателя. В семье Оза никто не восхищался маргинальным поэтом, уже канувшим в забвение. Никто из них не любил никому не известных авторов, не страдал от недостатка здравого смысла, не обладал вкусом другой эпохи и не читал только модные бестселлеры своей молодости — Стефана Цвейга или Франца Верфеля, Артура Шницлера или, может быть, даже менее известные произведения. В конце концов, лишь немногие книги той или иной эпохи до сих пор занимают наши полки. Но нет, всё в этой книге принадлежит движению Истории, которое принесло прогресс — своего рода культурной телеологии. Дорогой читатель, если вы не читали эти классические произведения, теперь вы можете приобщиться к ним косвенно через посредничество тёток и бабушек Амоса Оза. Это тот же классический канон, что и вчера, и позавчера, ибо это вечный список, и семья Оза процветала под его защитной сенью. Нарциссическое наслаждение,

Дорогой читатель, всё это принадлежит тебе благодаря идеальному «я» автора.¹³

Но после перечисления имен писателей, которых Оз использует, чтобы представить себя читателю (как объект любви), поражает тот факт, что нигде в *История любви и тьмы* Есть ли описание чего-либо из упомянутых книг, или хоть какое-то представление о читателях этих книг? Упоминается так много авторов, и всё же нет ни следа свидетельства о том, что что-то было действительно прочитано, только восторг от возможности приписать чтение литературы кому-то конкретному. Нет ни одного оригинального, новаторского прочтения, ни тени попытки сохранить литературную память, художественный опыт. Как будто этот человек читал литературу, и ничто не имело для него никакого значения, кроме его собственной жизни или травмы. Только так можно истолковать следующий нарциссический выпад: «И что же все эти запыхавшиеся интервьюеры?»

«Чего мы на самом деле хотим от Набокова и от меня?»¹⁴ Даже Агنون, который пользуется привилегией личного описания, поскольку автор обладал...

honor of a conversation with him, and thanks to the fact that he is a more-or-less-famous Nobel Prize winner, enters this pantheon via the ego of Oz, leaving no mark of any significance. A long discussion of Agnon is used for the sole purpose of “interpreting” Oz’s own work, after which, in order to escape from any meaningful utterance, Oz mobilizes a grandmother (not an aunt this time) to give vent to some cliché:

For several years I endeavored to free myself from Agnon’s shadow. I struggled to distance my writing from his influence, his dense, ornamented, sometimes Philistine language, his measured rhythms, a certain midrashic self-satisfaction, a beat of Yiddish tunes, juicy ripples of Hasidic tales. I had to liberate myself from the influence of his sarcasm and wit, his baroque symbolism, his enigmatic labyrinthine games, his double meanings and his complicated, erudite literary tricks.

Despite all my efforts to free myself from him, what I have learned from Agnon no doubt still resonates in my writing.

What is it, in fact, that I learned from him?

Perhaps this. To cast more than one shadow. Not to pick the raisins from the cake. To rein in and to polish pain. And one other thing, that my grandmother used to say in a sharper way than I have found it expressed by Agnon: “If you have no more tears left to weep, then don’t weep. Laugh.”¹⁵

What did the young writer Oz in fact learn from Agnon? “To rein in and to polish pain.” You hardly need to cite Agnon in reference to a maxim that could be picked up in any creative writing class. And since Oz has learned nothing from Agnon he cites his grandmother, because when all is said and done—so dictates the popular wisdom that the reader adores so—it is better to laugh than to cry (but where, in all Oz’s oeuvre, is there anything funny?). Again, success is teleologized. Oz knew Agnon before the Swedes awarded him the Nobel Prize. Of our almost forgotten Yossef Berdyczewski, on the other hand, who truly influenced him, Oz does not speak. Berdyczewski is barely known even to Hebrew readers, and thus there is no way of really “identifying with him.” In fact, not one of his

Честь беседы с ним, а также тот факт, что он более-менее известный лауреат Нобелевской премии, позволяет ему войти в этот пантеон через эго Оза, не оставив никакого значимого следа. Длительное обсуждение Агнона используется исключительно для «интерпретации» собственных работ Оза, после чего, чтобы избежать каких-либо осмысленных высказываний, Оз мобилизует бабушку (на этот раз не тетю), чтобы высказать какое-то клише:

В течение нескольких лет я пытался освободиться от тени Агнона. Я боролся за то, чтобы мои произведения не были подвержены его влиянию, его сложному, витиеватому, порой филистимскому языку, размеренным ритмам, некоторой мидрашистской самоуверенности, ритму идишских мелодий, сочным отголоскам хасидских рассказов. Мне нужно было освободиться от влияния его сарказма и остроумия, его барочной символики, его загадочных лабиринтных игр, его двусмысленностей и его сложных, эрудированных литературных уловок.

Несмотря на все мои попытки освободиться от него, то, чему я научился у Агнона, несомненно, до сих пор находит отклик в моих произведениях.

Чему же, собственно, я у него научился?

Возможно, вот что. Отбрасывать не одну тень. Не выковыривать изюм из пирога. Сдерживать и сглаживать боль. И еще кое-что, что моя бабушка говорила гораздо резче, чем это выразил Агنون: «Если у тебя нет
Если у вас ещё остались слёзы, не плачьте. Смейтесь.¹⁵

Чему же на самом деле научился молодой писатель Оз у Агнона? «Обуздать и сгладить боль». Едва ли нужно цитировать Агнона, чтобы упомянуть аксиому, которую можно было бы почерпнуть на любом курсе литературного творчества. А поскольку Оз ничему не научился у Агнона, он цитирует свою бабушку, потому что, в конце концов, — так гласит народная мудрость, которую так любит читатель, — лучше смеяться, чем плакать (но где во всем творчестве Оза есть что-нибудь смешное?). Опять же, успех телеологизируется. Оз знал Агнона еще до того, как шведы вручили ему Нобелевскую премию. С другой стороны, о нашем почти забытом Йосефе Бердичевском, который действительно оказал на него влияние, Оз не говорит. Бердичевский едва известен даже читателям на иврите, и поэтому нет способа по-настоящему «отождествить себя с ним». На самом деле, ни один из его

earlier tales and certainly no novel by Oz owes anything to Agnon, either in theme or style. That is why this influence, a sort of crowning of himself as the successor of Agnon, is framed in terms of his grandmother.

Even when Oz essays some original thought, also floating in a sea of important names, his sagacity slips into grandmaternal wisdom: "Gershom Scholem ... was also fascinated and possibly even tormented by the question of life after death."¹⁶ "Fascinated" is very good but "possibly ... tormented" is better, less positive but dramatic sounding. And that is not all:

The morning the news of his death was broadcast, I wrote: Gershom Scholem died in the night. And now he knows. Bergman too knows now. So does Kafka. So do my mother and father.¹⁷

Here we go again—important intellectuals are mentioned, ones that the European and certainly the German and French reader would recognize, but we end up with mom and dad. They were avid readers, as has been divulged earlier, but what they share with Kafka and Scholem is certainly not death or even life after death. Nor is anything said, of course, of Jewish beliefs regarding life after death or of Oz's dissent from these. Nothing of any significance is conveyed. The only thing that comes across is that Oz and his parents belong to the club of readers of German, and of course of Israeli readers, whose world is structured around a reciprocated love for the West. This, then, is the main concern of Oz's book—the shaping of the ideal ego, in perpetual oscillation between the delights of narcissism and their virtuous sublimation.

The following is a short example of this smug narcissism. Oz peruses a dedication that his father's uncle, Joseph Klausner, a Zionist historian, wrote to him: "As I stare at this inscription now, more than fifty years later, I wonder what he really knew about me, my Uncle Joseph."¹⁸ I will spare the readers some of the embarrassing paragraphs, and will stick to my point, namely narcissism in its political context. Not only do the readers serve as a collective mirror, but they can enjoy themselves by watching this very

Более ранние сказки, и уж точно ни один роман Оза, не имеют ничего общего с Агноном ни в тематике, ни в стиле. Именно поэтому это влияние, своего рода коронация его как преемника Агнона, представлено в контексте его бабушки.

Даже когда Оз высказывает оригинальные мысли, тоже затерянные в море важных имен, его проницательность переходит в мудрость бабушки: «Гершом Шолем... тоже был очарован и, возможно, даже мучился вопросом о жизни после смерти.¹⁶ «Завороженный» звучит очень хорошо, но «возможно... мучимый» лучше, менее позитивно, но драматично. И это еще не все:

Утром, когда сообщили о его смерти, я написал: «Гершом Шолем умер ночью. И теперь он знает. Бергман тоже теперь знает. Кафка тоже. Моя мать тоже». и отец.¹⁷

И вот опять — упоминаются важные интеллектуалы, которых узнает европейский, а, конечно же, немецкий и французский читатель, но в итоге мы останавливаемся на маме и папе. Они были заядлыми читателями, как уже говорилось ранее, но то, что их объединяет с Кафкой и Шолемом, — это, безусловно, не смерть и даже не жизнь после смерти. Разумеется, ничего не говорится и о еврейских верованиях относительно жизни после смерти или о несогласии Оза с ними. Ничего значимого не передается. Единственное, что прослеживается, это то, что Оз и его родители принадлежат к клубу читателей немецкого, и, конечно же, израильского, чей мир построен вокруг взаимной любви к Западу. Таким образом, это и есть главная тема книги Оза — формирование идеального эго, находящегося в постоянном колебании между прелестями нарциссизма и его добродетельной сублимацией.

Ниже приведён короткий пример этого самодовольного нарциссизма. Оз рассматривает посвящение, написанное ему дядей его отца, сионистским историком Йозефом Клауснером: «Сейчас, спустя более пятидесяти лет, глядя на эту надпись, я задаюсь вопросом, что он на самом деле знал обо мне». мой дядя Джозеф.¹⁸ Я избавлю читателей от некоторых неловких абзацев и сосредоточусь на своей основной мысли, а именно о нарциссизме в его политическом контексте. Читатели не только станут для меня своего рода зеркалом, но и смогут получить удовольствие, наблюдая за этим.

specular reflection: we are so educated, we are so intellectual, we are so European.

And now for an even more embarrassing sentence:

And since then I have felt good in the company of women ...

There may also be a vague jealousy of female sexuality: a woman is infinitely richer, gentler, more subtle, like the difference between a fiddle and a drum.¹⁹

Since when exactly did he feel good in the company of women? Since his teacher made love to him, he tells us. Description of the intercourse is too long to cite, but there too Oz hops back and forth between simple narcissism and the ever-so civilized ideal of the self. Note the European odors lingering on the teacher's sheets:

... and so our poetry reading evenings accompanied by strains of Schubert, Grieg, or Brahms on the gramophone faded, and after a couple more times they stopped, and her smile settled on me only from a distance when we passed each other, a smile radiating joy, pride and affection, not like a benefactor smiling at someone she has given something to, but more like an artist looking at a painting she has made ...²⁰

Despite the sexual swagger regarding the enchanted coupling with his teacher at the kibbutz—her skin was tanned “yellowy-brown” and on her thighs the down was an “almost invisible gold” (is this more *Marie Claire* or soft porn, one may ask?)—sometimes these narcissistic bouts end in a moment of recoil. For example, after the writer describes himself in terms of the caress of his teacher's gaze, a kind of awareness dawns in him that one should not boast in this way. From this emerge all kinds of ironies. The outbursts are then replaced by a studied description of the ideal ego—the Zionist ideal, the State of Israel and Western culture, and their true representatives—father or mother, and, of course, the writer himself and his humility.²¹ Thereby we find the figure of the father enhanced and even more so that of the son humbly nestling against the father figure. With all these the reader may easily identify, especially the

Зеркальное отражение: мы такие образованные, такие интеллектуальные, такие европейцы.

А теперь еще более неловкое предложение:

И с тех пор я чувствую себя комфортно в компании женщин...

Возможно также присутствует смутное чувство зависти к женской сексуальности: женщина бесконечно богаче, нежнее, тоньше, подобно...

Разница между скрипкой и барабаном.¹⁹

С каких это пор он почувствовал себя хорошо в компании женщин? С тех пор, как его учительница занялась с ним любовью, говорит он. Описание полового акта слишком длинное, чтобы его цитировать, но и здесь Оз мечется между простым нарциссизмом и вечно цивилизованным идеалом собственного «я». Обратите внимание на европейские запахи, витающие на простынях учительницы:

...и вот наши вечера чтения стихов под звуки Шуберта, Грига или Брамса на граммофоне постепенно сошли на нет, а после еще пары таких вечеров они прекратились, и ее улыбка озаряла меня лишь издалека, когда мы проходили мимо друг друга, улыбка, излучающая радость, гордость и привязанность, не похожая на улыбку благодетеля, улыбающегося тому, кому она что-то дала. но скорее как художница, рассматривающая написанную ею картину...²⁰

Несмотря на сексуальную самоуверенность, связанную с его очаровательной связью с учительницей в кибуце, — ее кожа была загорелой, «желтовато-коричневой», а на бедрах пушок был «почти невидимым золотом» (можно ли сказать что-то более серьезное?). *Мари Клэр* (или, можно спросить, мягкая порнография?) — иногда эти нарциссические всплески заканчиваются моментом отторжения. Например, после того как писатель описывает себя в терминах ласки взгляда своего учителя, в нем внезапно приходит осознание того, что так хвастаться не следует. Из этого возникают всевозможные иронии. Затем вспышки сменяются продуманным описанием идеального эго — сионистского идеала, Государства Израиль и западной культуры, а также их истинных представителей — отца или матери и, конечно же, самого писателя. и его смирение.²¹ Таким образом, мы видим, как усиливается образ отца, и еще больше — образ сына, смиренно прижавшегося к отцовской фигуре. Все это легко позволяет читателю узнать, особенно...

Israeli reader. Whoever wishes to address the issue of the immense importance Oz attributes to his parents, without an ounce of self-criticism—after all, in this tradition of memoirs there are precedents—and to personalities he has encountered and known in his youth, should examine the manner in which the collectivity of his readers is offered a sublime being: with the implicit message “We are so wonderful.” This is the structure that can help to explain how—through the character of the boy who identifies with his parents—Oz’s readership is so readily excited by these figures.

Wisdom of the Grandson

“When I was little,” writes Oz, “my ambition was to grow up to be a book. Not a writer.”²² So he also said to a French weekly:

As a child I hoped to become a book when I grew up. Not a writer, a book: men are killed like flies. Writers too. But a book, even if one destroys it methodically, there will be somewhere a copy of it that will survive on a shelf, at the end of a bookshelf, in some lost library, in Reykjavik, Valladolid or Vancouver.²³

This sounds very sublime, of course, and again lures the reader into being moved by such an ideal image of the self. However, elsewhere in his memoir, describing “the bad reader,” Oz gives vent to his fears (in a chapter that was not translated).

The bad reader is a kind of psychopathic lover, one that falls upon the woman who has fallen into his hands and tears her clothes off, and after she is completely naked goes on to tear off her skin, and then impatiently does away with her flesh, dismembers the skeleton, and only then, when already gnawing at the bones with his brute yellow teeth, is he satiated: that’s it, now I’m really inside, I’ve made it.²⁴

And so we come closer to the way Oz should be read (when it is the book that is actually read rather than simply the publisher’s press

Израильский читатель. Любой, кто захочет затронуть вопрос о том, какое огромное значение Оз придает своим родителям, без малейшей самокритики — ведь в этой традиции мемуаров есть прецеденты. — и к личностям, с которыми он встречался и которых знал в юности, следует обратиться к тому, как он предлагает своим читателям возвышенное существо: с неявным посланием: «Мы такие замечательные». Именно такая структура может помочь объяснить, как благодаря образу мальчика, который отождествляет себя со своими родителями, читатели «Волшебника страны Оз» так легко приходят в восторг от этих персонажей.

Мудрость внука

«Когда я был маленьким, — пишет Оз, — моей мечтой было вырасти и стать книгой. Не писателем».²² Он также сказал французскому еженедельнику:

В детстве я мечтал стать книгой, когда вырасту. Не писателем, а книгой: людей убивают как мух. Писатели тоже. Но книга, даже если её методично уничтожать, где-то всё равно найдётся её экземпляр, который сохранится на полке, в конце книжной полки, в какой-нибудь затерянной библиотеке, в Рейкьявике, Вальядолиде или где-нибудь ещё.

Ванкувер.²³

Это, конечно, звучит очень возвышенно и снова заманивает читателя, заставляя его проникнуться таким идеальным образом себя. Однако в другом месте своих мемуаров, описывая «плохого читателя», Оз изливает свои страхи (в главе, которая не была переведена).

Плохой чтец — это своего рода психопатический любовник, который набрасывается на попавшую в его руки женщину, срывает с неё одежду, а после того, как она полностью обнажена, начинает сдирать с неё кожу, а затем нетерпеливо расправляется с её плотью, расчленяет скелет, и только потом, уже грызя кости своими грубыми жёлтыми зубами, он

Насытился: вот и все, теперь я действительно внутри, я добился своего.²⁴

Таким образом, мы приближаемся к тому, как следует читать страну Оз (когда читается именно книга, а не просто издательство).

release): it seems that the book Oz wished to be is in fact the body of a woman, and the “bad reader” is none other than a rapist torturing that body. Suffice it to say that—though it is described here in perverted terms—the fear of the “bad reader” is not disingenuous. The citation above is no more than a plea for pity, such as Oz frequently expresses, usually toward defenseless women, throughout his literary career. In this book he explains whence this need emanates. Moreover, his fear of the rapist or his identification with the weak woman is not only the basis of a raw demagogic patriotism (and all the harsh rhetoric against left-wing intellectuals is couched in terms of the defense of a vulnerable female body²⁵), but also, once the “bad reader” is described, the path is cleared for sympathetic reading on the part of the “good reader,” namely he who is willing to make love to the book.

You, the reader, put yourself in Raskolnikov’s place, in order to feel within you the horror and the desperation and the malignant misery diluted with Napoleonic hubris, and the megalomaniac’s visions ... In order to draw an analogy (the conclusion of which will be kept secret) ... between the literary character and your own self.²⁶

This passage lays the basis for a sympathetic reading not only of Raskolnikov but also of *A Tale of Love and Darkness*. The reader is told here: You read Dostoyevsky, so “put yourself in Raskolnikov’s place.” But note here that nowhere in Oz’s oeuvre is there a Raskolnikov—that is, such a modernity-inspired murderer—certainly not in this book, but this statement situates the reader as a Dostoyevsky reader, a reader to whom Dostoyevsky has put such an unbearably exacting test. But this is notwithstanding the fact that *A Tale of Love and Darkness*, with its single protagonist who has no ties with anyone in the world, in no way resembles the polyphony of the Russian writer. Oz’s manner of presenting the idea of identification with regard to Dostoyevsky’s novels reduces the whole literary conception of nineteenth-century literature to the language of Hollywood’s popular realism, or paperbacks you read on the bus or train. More to the point, one could interpret it thus: You, the reader,

(релиз): кажется, что книга, которой хотел быть Оз, на самом деле представляет собой тело женщины, а «плохой читатель» — это не кто иной, как насильник, истязавший это тело. Достаточно сказать, что — хотя здесь это описано в извращенных терминах — страх перед «плохим читателем» не является неискренним. Приведенная выше цитата — не более чем мольба о сострадании, которое Оз часто выражает, обычно по отношению к беззащитным женщинам, на протяжении всей своей литературной карьеры. В этой книге он объясняет, откуда берется эта потребность. Более того, его страх перед насильником или его отождествление со слабой женщиной — это не только основа грубого демагогического патриотизма (и вся резкая риторика против левых интеллектуалов — это облечено в форму защиты уязвимого женского тела.²⁵), но также, как только описывается «плохой читатель», открывается путь для сочувственного прочтения со стороны «хорошего читателя», то есть того, кто готов полюбить эту книгу.

Вы, читатель, поставьте себя на место Раскольникова, чтобы прочувствовать ужас, отчаяние и злобную тоску, смешанные с наполеоновской гордыней, и видения мегаломана... Чтобы провести аналогию (вывод которой останется в секрете)... между литературным характер и вы сами.²⁶

Этот отрывок закладывает основу для благожелательного прочтения не только Раскольникова, но и... *История любви и тьмы*. Читателю здесь говорится: вы читали Достоевского, поэтому «поставьте себя на место Раскольникова». Но обратите внимание, что нигде в творчестве Оза нет Раскольникова — то есть такого вдохновлённого современностью убийцы — уж точно не в этой книге, но это утверждение помещает читателя в положение читателя Достоевского, читателя, к которому Достоевский подверг столь невыносимо суровому испытанию. Но это несмотря на то, что *История любви и тьмы* «Оз», с его единственным главным героем, не имеющим связей ни с кем в мире, никоим образом не напоминает полифонию русского писателя. Способ, которым Оз представляет идею идентификации в отношении романов Достоевского, сводит всю литературную концепцию литературы XIX века к языку голливудского популярного реализма или книг в мягкой обложке, которые читают в автобусе или поезде. Более того, это можно интерпретировать так: Вы, читатель,

who has never read Dostoyevsky, read me instead. Take Dostoyevsky as an ideal self and come to me and through me into the world that I offer you, in the name of Dostoyevsky.

On the Ideal Ego—The Hebrew language

In a *Livres-Hebdo* article, we find a very popular image Oz has been using for years. The young Oz grew up in Jerusalem, “an old nymphomaniac who squeezes lover after lover to death before shrugging him off her with a yawn.”²⁷ Where does this image of the “old nymphomaniac” come from? It is quite clear: from the ethnically heterogeneous nature of the city. Read closely and you will find that obsessive hatred toward anything which is “impure.” Here again, the “return of the colonial” finds an appropriate expression. The following is something Oz said of Modern Hebrew many years ago:

The New Hebrew is, so to speak, a flirt in heat. One day she is seemingly all yours and completely with you, at your feet, ready for anything, happy for any audacious activity, and all at once you’re lying there behind her, flat on your back and a trifle ridiculous, and she runs off to her new lovers ... She never forgets, not for an instant, the Prophets and the Tannaim, but everywhere she turns she betrays them with every passerby ... and in all her meandering they are viewed from afar, in the background, like the mountains and the sea.²⁸

Here, unlike the case of the “old nymphomaniac,” we find a seemingly comfortable (metaphor of the) man forgiving the woman “in heat,” absolving her lechery. We find Oz again, and most consistently, relating to the Israeli phenomenon in the form of a “girl.” We find here the writer exemplifying the most powerful bond of the obsessive structure—the narrator as representative of the Law. In short, instead of a discussion of language, the key point in the paragraph on Hebrew is a metaphor regarding identification with a “father figure.” The daughter is a flirt, yet nonetheless we forgive her. Fathers are pure and worthy of our empathy. So what is this Law the

Кто никогда не читал Достоевского, прочтите меня. Примите Достоевского как идеальное «я», и придите ко мне, и через меня в мир, который я вам предлагаю, во имя Достоевского.

Об идеальном эго — ивритский язык

В Livres-Hebdo в статье мы находим очень популярный образ, который Оз использует уже много лет. Молодой Оз вырос в Иерусалиме, «старая нимфоманка, которая задушила одного любовника за другим, прежде чем...» «Она оттолкнула его от себя, зевая». ²⁷Откуда берется этот образ «старой нимфоманки»? Совершенно ясно: из этнической неоднородности города. Присмотритесь внимательнее, и вы обнаружите эту навязчивую ненависть ко всему «нечистому». Здесь снова уместно проявляется «возвращение колониального». Вот что много лет назад сказал Оз о современном иврите:

Новоеврейка, так сказать, — это кокетливая особа. В один день она, кажется, вся твоя, полностью рядом, у твоих ног, готовая ко всему, счастливая от любой смелости, а в другой — ты лежишь позади неё, на спине, немного смешно, и она убегает к своим новым любовникам... Она ни на секунду не забывает пророков и таннов, но куда бы она ни повернулась, она предаёт их с каждым прохожим... и во всех своих странствиях они видны издалека, на заднем плане, как горы и...

море. ²⁸

Здесь, в отличие от случая со «старой нимфоманкой», мы видим, как, казалось бы, вполне комфортно чувствующий себя (метафора) мужчина прощает женщину «в состоянии возбуждения», освобождая её от похоти. Мы снова и снова видим Оза, наиболее последовательно обращающегося к израильскому феномену в образе «девушки». Здесь мы видим, как писатель демонстрирует самую сильную связь в структуре обсессивного романа — рассказчик как представитель Закона. Короче говоря, вместо обсуждения языка, ключевой момент в абзаце о иврите — это метафора, касающаяся идентификации с «отцовской фигурой». Дочь — кокетка, но тем не менее мы её прощаем. Отцы чисты и достойны нашего сочувствия. Так что же это за Закон?

writer so happily defends when it comes to the “daughter figure”? The Law is purity, that of a homogeneous nationalist entity. What do we learn from this metaphor of the writer’s Hebrew? Nothing. Is his Hebrew Biblical or perhaps Tannaite? After all, the two texts are very different. We do not know and can only say that both Hebrews are “pure” from the nationalist point of view, unlike the Talmud for example, or later Jewish Rabbinical writings. So is Oz’s Hebrew the language of a lecherous flirt, in other words heterogeneous? It is most striking how hollow the image of Hebrew is. All the Hebrew reader may glean is some sort of reaffirmation of his own language, however it is used, a reaffirmation which claims that New Hebrew “never forgets, not for an instant, the Prophets and the Tannaim.” You, readers, possibly you have forgotten the pure sources of your mother tongue, but she—your mother tongue, Hebrew—remembers. How does she remember? Oz offers us no explanation, but simply the notion of a kind of cultural perfume.

These things about Hebrew are as accessible to the Western reader as to the reader of Hebrew, seeing as nothing has actually been said about the language itself, although an exotic image of it has been flaunted. In a 1994 compilation of essays in English, Oz returned to the quarter-century-old metaphor of the “flirt in heat” and reasserted the same “truth of the Tannaim and the Prophets.” But now the “lecherous flirt” was replaced by “a character with a questionable past” for fear of slighting Anglo-Saxon feminists. But what Oz has to say about Hebrew is not important here. The point is the manner in which Oz places himself in the *sphere of the ideal*, a higher plane of identification whence he addresses the readers—speakers and non-speakers of Hebrew alike. Oz presents himself here—precisely in the pattern that recurs throughout *A Tale of Love and Darkness*—as the spokesman for posterity and defender of the vulnerable maiden, namely the State of Israel.

Yet, one has to read into those ideas about purity of language exactly what Oz shares not with the liberal left in the West, but with the reactionary or traditional nationalists. It is not only the anti-Arab sentiments or the fear of immigration that the reader in the West finds it easy to identify with, as I showed in [Chapter 2](#). It is not “just

Писатель так охотно защищает «образ дочери»? Закон – это чистота, чистота однородного националистического образования. Что мы узнаем из этой метафоры иврита писателя? Ничего. Является ли его иврит библейским или, возможно, таннаитским? В конце концов, эти два текста очень разные. Мы не знаем и можем лишь сказать, что оба иврита «чисты» с националистической точки зрения, в отличие, например, от Талмуда или более поздних еврейских раввинских писаний. Так является ли иврит Оза языком похотливого флирта, другими словами, неоднородным? Наиболее поразительно, насколько пуст этот образ иврита. Все, что может почерпнуть читатель на иврите, – это некое подтверждение собственного языка, как бы он ни использовался, подтверждение, утверждающее, что новый иврит «ни на мгновение не забывает пророков и таннаитов». Возможно, вы, читатели, забыли истинные истоки своего родного языка, но она — ваш родной язык, иврит — помнит. Как она помнит? Оз не предлагает нам объяснения, а лишь намекает на некий культурный аромат.

Эти сведения о иврите так же доступны западному читателю, как и читателю, изучающему иврит, поскольку о самом языке ничего не сказано, хотя его экзотический образ и демонстрируется. В сборнике эссе на английском языке 1994 года Оз вернулся к метафоре «похотливого флиртующего» четвертьвековой давности и подтвердил ту же «истину таннаев и пророков». Но теперь «похотливого флиртующего» заменили на «персонажа с сомнительным прошлым», опасаясь оскорбить англосаксонских феминисток. Но то, что Оз говорит об иврите, здесь неважно. Суть в том, как Оз позиционирует себя в этом контексте. *сфера идеала*, более высокий уровень идентификации, с которого он обращается к читателям — как к тем, кто говорит на иврите, так и к тем, кто его не знает. Здесь Оз представляет себя — именно по той схеме, которая повторяется на протяжении всего текста. *История любви и тьмы* — как представитель будущих поколений и защитник беззащитной девушки, а именно Государства Израиль.

Однако, следует понимать, что в эти идеи о чистоте языка Оз разделяет не с либеральными левыми на Западе, а с реакционными или традиционными националистами. Читателю на Западе легко отождествить себя не только с антиарабскими настроениями или страхом перед иммиграцией, как я показал в [Глава 2](#) Это не «просто»

politics,” for it is far deeper: namely, the fundamentally intolerant nature of Zionism as a contemporary phenomenon:

Like any other language, Hebrew has a certain integrity which I'm keen to preserve and protect from modernization. For example, in Hebrew, the verb usually sits at the beginning of a sentence. This reflects a form of cognitive hierarchy. What's more important? Ever since the Bible, actions have taken priority: before we discuss where, why, to what end and to whom you have done something, let's first establish *what* you actually did. Languages reflect in a very profound way a certain cultural ethos, a system of values. I believe that the Hebraic value system is a good one and I'd like to preserve it. This system is under threat not only of modernization and from foreign languages. Hebrew is like a person with loose morals: it has slept around and been influenced by Aramaic, Arabic, Russian, German, Yiddish, English, Polish and whatnot. And all these influences have the effect of giving it enormous flexibility. One can put the verb almost anywhere in the statement and it would remain good, correct Hebrew, though it could suggest the linguistic background of the speaker. I often write such sentences, in dialogues, which removes the necessity of stating explicitly that a particular person comes from, say, Russia or the Middle East. When I write dialogue, I'm just a bystander and I always try to be a truthful bystander. But when it comes to a description or a philosophical or narrative passage, then I feel responsible for using and preserving the integrity of the Hebrew language because of the values which I believe are inherent in her deeper structure. I often end up feeling like a kind of Don Quixote trying to defend something which no longer exists.²⁹

Why is all this talk of the placement of the verb at the head of a sentence given as a specifically Hebrew feature? It is perhaps true of so many other tongues, and in Hebrew, more than anything else, it reflects syntactic chaos (a linguistic jumble which is the result of indecision regarding a uniform version of the language), a chaos that

политика», потому что дело гораздо глубже: а именно, в принципиально нетерпимой природе сионизма как современного явления:

Как и любой другой язык, иврит обладает определённой целостностью, которую я стремлюсь сохранить и защитить от модернизации. Например, в иврите глагол обычно стоит в начале предложения. Это отражает своего рода когнитивную иерархию. Что важнее? Со времён Библии действия всегда имели приоритет: прежде чем обсуждать, где, почему, с какой целью и кому вы что-то сделали, давайте сначала определим *что* Вы действительно так и сделали. Языки очень глубоко отражают определённый культурный этос, систему ценностей. Я считаю, что еврейская система ценностей хороша, и я хотел бы ее сохранить. Эта система находится под угрозой не только модернизации и иностранных языков. Иврит подобен человеку с распущенными нравами: он много где побывал и находился под влиянием арамейского, арабского, русского, немецкого, идиша, английского, польского и других языков. И все эти влияния придают ему огромную гибкость. Глагол можно поставить практически в любом месте предложения, и он останется хорошим, правильным ивритом, хотя и может указывать на языковой фон говорящего. Я часто пишу такие предложения в диалогах, что избавляет от необходимости прямо указывать, что конкретный человек родом, скажем, из России или Ближнего Востока. Когда я пишу диалоги, я всего лишь сторонний наблюдатель, и я всегда стараюсь быть правдивым наблюдателем. Но когда дело доходит до описания, философского или повествовательного отрывка, я чувствую ответственность за использование и сохранение целостности иврита из-за ценностей, которые, как я считаю, заложены в его глубинной структуре. Часто я в итоге чувствую себя своего рода Доном.

Дон Кихот пытается защитить то, чего больше не существует.²⁹

Почему все эти разговоры о расположении глагола в начале предложения рассматриваются как специфическая особенность иврита? Возможно, это справедливо для многих других языков, и в иврите это, прежде всего, отражает синтаксический хаос (лингвистическую неразбериху, являющуюся результатом нерешительности в отношении единой версии языка), хаос, который

Oz certainly dislikes. Moreover, throughout the years of Oz's writing career, much has been written and debated regarding the question of whether or not modern Hebrew is a Semitic language (as most philologists maintain) or a European one, with a grammar derived from Yiddish and a Semitic vocabulary (Chaim Rosen and Paul Wexler propounded this view, the latter more radically than the former). Oz has no interest in this debate. All he wants to do is peddle an attractive image, at the heart of which is the writer's self-image, defending something feminine, out of empathy with the ideal of the Ancient Fathers. And so he says of himself and his environment:

Spoken languages are all so slim and poor. Most of the people around me use an active vocabulary of a thousand to fifteen hundred words, and this morsel is fettered to grandiloquent structures and the latest in fashionable patterns from overseas ... I hope that little by little literature that is being written will come to enrich the spoken language. After all, the limits of language are limits and what you are unable to express verbally you cannot properly think through either. The chance to express complexity and nuance is the opportunity to enrich life and live it according to a fine and sophisticated rhythm.³⁰

But there is really no point in belaboring the issue. Oral languages are no more limited or restricted than literary ones. Some of the most important Hebrew writers did wonderful things by de-mystifying the "ancient" and "eternal" language. A non-erudite discussion of Hebrew can still say something about the Hebrew of literature and of reality.

Image of the Father and the Defense of Europe

One has to read Oz's attacks against intellectuals in Europe. Not only where he "defends" the pure little virgin—the Israeli nation—from these intellectuals, but also where he demonstrates that there is something else which he hates in the "leftist" position, aside from its

Оз, безусловно, недолюбливает. Более того, за годы писательской карьеры Оза было написано и обсуждено много статей по вопросу о том, является ли современный иврит семитским языком (как утверждают большинство филологов) или европейским, с грамматикой, заимствованной из идиша, и семитской лексикой (Хаим Розен и Пол Векслер выдвинули эту точку зрения, причем последний был более радикален, чем первый). Оз не заинтересован в этих дебатах. Все, чего он хочет, — это продать привлекательный образ, в основе которого лежит самовосприятие писателя, защищающего нечто женственное, из сочувствия к идеалу древних отцов церкви. И так он говорит о себе и своем окружении:

Устные языки так скудны и бедны. Большинство окружающих меня людей используют активный словарный запас от тысячи до полутора тысяч слов, и этот клочок скован высокопарными структурами и последними модными тенденциями из-за рубежа... Я надеюсь, что постепенно создаваемая литература обогатит устную речь. В конце концов, границы языка — это границы, и то, что вы не можете выразить вербально, вы не можете должным образом осмыслить. Возможность выразить сложность и нюансы — это возможность обогатить жизнь и прожить её в соответствии с тонкостью и...

сложный ритм.³⁰

Но нет смысла углубляться в этот вопрос. Устные языки ничем не более ограничены, чем литературные. Некоторые из самых важных еврейских писателей совершили чудеса, развеяв мифы о «древнем» и «вечном» языке. Даже неспециалистское обсуждение иврита может многое рассказать о иврите в литературе и в реальности.

Образ Отца и защита Европы

Необходимо прочитать нападки Оза на интеллектуалов в Европе. Не только там, где он «защищает» чистую маленькую девственницу — израильскую нацию — от этих интеллектуалов, но и там, где он демонстрирует, что помимо «левых» взглядов, он ненавидит еще кое-что.

anti-Zionism. Here, for example, is what the Israeli author has had to say to the elite of Frankfurt in a lecture on the occasion of his Goethe Prize award in the summer of 2005:

Since the days of Job and until recently, Satan, Man and God shared accommodations. The three of them were unanimous in distinguishing between Good and Evil; God commanded to choose the Good, Satan lured to do Evil, but both God and Satan played on the same board, with Man as their play-piece. So simple everything used to be once, absolutely straightforward.³¹

And after this purely Christian introduction to the lost paradise of the religious world comes the almost central issue:

Somewhere in the nineteenth century, not long after Goethe's demise, a new mode of thought made its way into Western civilization that put Evil to one side and even negated its very existence. This intellectual innovation has come to be known as "the social sciences."³²

From here, Oz goes on to summarize social science:

In the eyes of this school, uncompromisingly rational, optimistic, wonderfully sophisticated—psychology, sociology, anthropology and the economic sciences—Evil does not exist. And in fact neither does Good.

And thus, so as not to have to say "Karl Marx" out loud, Oz frog-marches through the lecture theater before the Frankfurt dignitaries all the founders of the social sciences, including Weber, Durkheim, Mauss and others. But in case this crash course on the history of sociology and determinism did not suffice, here comes the crunch:

Several of the social sciences of the modern era are in fact an extensive endeavor, the first of its kind, to oust both Good and Evil from the stage of human vision ... "society is to blame for everything," or the political establishment is culpable, or

Антисионизм. Вот, например, что израильский писатель сказал франкфуртской элите в лекции по случаю присуждения ему премии имени Гёте летом 2005 года:

Со времен Иова и до недавнего времени Сатана, Человек и Бог мирно сосуществовали. Все трое единодушно различали Добро и Зло; Бог повелевал выбирать Добро, Сатана соблазнял творить Зло, но и Бог, и Сатана играли на одной доске, а Человек был их пешкой. Так просто все было когда-то, абсолютно.
простой.³¹

И после этого чисто христианского вступления к утраченному раю религиозного мира возникает почти центральный вопрос:

Примерно в девятнадцатом веке, вскоре после смерти Гёте, в западную цивилизацию проник новый образ мышления, который отодвинул зло на второй план и даже отрицал само его существование. Это интеллектуальное нововведение стало известно как...
как «социальные науки».³²

Далее Оз переходит к обобщению знаний в области социальных наук:

В глазах этой школы, бескомпромиссно рациональной, оптимистичной, удивительно утонченной — психологии, социологии, антропологии и экономических наук — зла не существует. И, по сути, добра тоже.

И вот, чтобы не произносить вслух «Карл Маркс», Оз марширует по лекционному залу перед франкфуртскими сановниками, представляющими всех основателей социальных наук, включая Вебера, Дюркгейма, Мосса и других. Но если этого краткого курса по истории социологии и детерминизма оказалось недостаточно, вот и решающий момент:

Некоторые из социальных наук современной эпохи представляют собой, по сути, масштабную, первую в своем роде попытку исключить как Добро, так и Зло из поля зрения человечества... «общество виновато во всем», или политический истеблишмент виновен, или

colonialism, imperialism, Zionism, globalization, or what have you.³³

And so, in a motley of flattery (the grandeur of German literature through the ages), ignorance and a “be on our side” form of propaganda, Oz adds:

Today, after the collapse of the totalitarian regimes of Evil, we have developed a tremendous respect for cultures that vary one from the other, for multiculturalism, for pluralism. I know people who would kill on sight whoever is not a pluralist.³⁴

Yet again, we are returning to our point of departure. The Father, the guardian of the Law, is not just an obsessive who tracks down all forms of impurity, but he also knows exactly what the Germans like to hear, and not only Germans. A Jew from Israel stands there, in Germany, takes upon himself the right to speak in the name of the survivors, and ridicules multiculturalism. This is the same multiculturalism that in contemporary Germany is trying to protect Muslims from the demand that they “look like us,” that is trying to promote Muslims’ right to teach and learn in their own tongue within the German educational system, and to build mosques. This is the context into which Oz contributes his adoration of Europe: I, as representative of the survivors, will speak of the past, in return for silence regarding the murky present—the German dream of an all-white Europe. Nor does he stop there:

Again Satan’s work is cut out for him. Postmodernism has hired his services, though in this instance his business borders on the kitsch: a small secret gang of “forces of darkness” is forever culpable for all our troubles, beginning with poverty and discrimination and culminating with 9/11 and the Tsunami. Ordinary Man—is always innocent ... According to the most fashionable discourse, Evil is a corporation. Public institutions are evil.³⁵

колониализм, империализм, сионизм, глобализация или что-то подобное.[33](#)

И вот, в пестрой смеси лести (величие немецкой литературы на протяжении веков), невежества и пропаганды в духе «будьте на нашей стороне», Оз добавляет:

Сегодня, после краха тоталитарных режимов зла, мы прониклись огромным уважением к культурам, которые отличаются друг от друга, к мультикультурализму, к плюрализму. Я знаю...

Люди, готовые убить на месте любого, кто не является плюралистом.[34](#)

И снова мы возвращаемся к исходной точке. Отец, хранитель Закона, не просто одержимый ищущий все формы нечистоты, но он также точно знает, что любят слышать немцы, и не только немцы. Еврей из Израиля стоит там, в Германии, присваивает себе право говорить от имени выживших и высмеивает мультикультурализм. Это тот самый мультикультурализм, который в современной Германии пытается защитить мусульман от требования «выглядеть как мы», который пытается продвигать право мусульман преподавать и учиться на своем родном языке в рамках немецкой системы образования и строить мечети. Именно в этом контексте Оз выражает свое восхищение Европой: я, как представитель выживших, буду говорить о прошлом в обмен на молчание относительно туманного настоящего — немецкой мечты о полностью белой Европе. И он на этом не останавливается:

И снова Сатане предстоит непростая задача. Постмодернизм нанял его, хотя в данном случае его бизнес граничит с китчем: небольшая тайная банда «сил тьмы» навсегда виновна во всех наших бедах, начиная с бедности и дискриминации и заканчивая 11 сентября и цунами. Обычный человек всегда невиновен... Согласно самой модной точке зрения, зло — это корпорация. Общественность Институции — зло.[35](#)

This is obviously the place finally to settle accounts with Edward Said, in the name of Goethe of course. And, while he's at it, he can attack the "many contemporary Europeans, haunted by guilt and to the point of paying lip service to everything that is far away, to everything that is 'different,' to everything that is absolutely non-European" as well. He does not even see the irony of expressing himself thus, he whose presence in Frankfurt is precisely so linked to the German guilt complex—the prize, the speech, the hope to get to Stockholm by means of the Green notables of *Die Zeit*. Like other deniers of the horrors of colonialism (Fienkelkraut is just a particularly miserable example), Oz suggests, of course, that there is a misguided sense of guilt—that which is directed at Europe's colonial past—and there is a justified form. Of the latter Oz does not speak, but it is the foil of the former—it is that which places the Jewish Holocaust in the heart of the European ethos.

One might ask oneself whether Oz rehearsed the speech out loud. How would the term "absolutely non-European" sound to German ears? How does it sound in French? Would Le Pen like such an expression? And how did all those bootlickers in the French press react when this theme appeared in the book we are dealing with? I will tell you: the racist colonialism in them probably approved of such a narcissistic idea of the West.

This is how the desire for "European purity" expresses itself when it comes from an Israeli Jew. Here we touch upon the concrete, the real of our life—upon colonialism. The most authentic thing about Amos Oz—if we put aside the fear of women's sexuality, which is simply a pathetic aspect of his clumsy narratives—is the colonial discourse. It is not a conscious response to the bugle call for the sake of an old cause, doomed to extinction. It is a discourse based on the current Zionist experience. In the historical moment in which we are living, Zionism has no source of legitimization except the old colonial discourse. And this is also the ideological project of the Hebrew literature translated for Europeans (as, for example, in *The Liberated Bride* by A. B. Yehoshua): we shall be the ideal border against what is not Europe and we will grant you the stamp of righteousness, of being *kosher*. Even the pork we will make *kosher*.

Очевидно, это место, где наконец-то можно свести счёты с Эдвардом Саидом, конечно же, от имени Гёте. И, заодно, он может нападать на «многих современных европейцев, мучимых чувством вины и доходящих до того, что лишь на словах поддерживают всё далёкое, всё «другое», всё абсолютно неевропейское». Он даже не видит иронии в том, что выражается таким образом, ведь его присутствие во Франкфурте как раз и связано с немецким комплексом вины — премией, речью, надеждой попасть в Стокгольм благодаря зелёным деятелям. *Время* Как и другие отрицатели ужасов колониализма (Финкелькраут — лишь один из особенно печальных примеров), Оз, конечно же, предполагает, что существует ошибочное чувство вины — то, которое направлено против колониального прошлого Европы, — и существует оправданная форма этого чувства. О последней Оз не говорит, но она является противоположностью первой — именно она помещает Холокост евреев в самое сердце европейского этоса.

Можно задаться вопросом, репетировал ли Оз эту речь вслух. Как бы звучал термин «абсолютно неевропейский» для немецких ушей? Как он звучит по-французски? Понравилось бы Ле Пен такое выражение? И как отреагировали все эти подхалимщики из французской прессы, когда эта тема появилась в книге, которую мы рассматриваем? Я вам скажу: расистский колониализм в них, вероятно, одобрил бы такую нарциссическую идею о Западе.

Вот как проявляется стремление к «европейской чистоте», когда оно исходит от израильского еврея. Здесь мы касаемся конкретного, реального аспекта нашей жизни — колониализма. Самое подлинное в Амосе Озе — если отбросить страх перед женской сексуальностью, который является просто жалким элементом его неуклюжих повествований, — это колониальный дискурс. Это не сознательный ответ на призыв к действию ради старого дела, обреченного на исчезновение. Это дискурс, основанный на современном сионистском опыте. В исторический момент, в котором мы живем, у сионизма нет источника легитимации, кроме старого колониального дискурса. И это также идеологический проект еврейской литературы, переведенной для европейцев (например, в *Освобожденная невеста* (Автор: А.Б. Йехошуа) Мы станем идеальной границей против всего, что не является Европой, и мы даруем вам печать праведности, подлинности. *кошерный* Даже ту свинину, которую мы будем готовить. *кошерный*.

Back to the Father, "the European"

No left-wing German intellectual has dared to criticize these statements of Oz's publicly. I do not wish to get involved in a long discussion of contemporary German ideology and the place of the Jew within it, so suffice it to say that Oz is being baptized as the "representative of the new Jewish European People," a "graduate of European culture." The character of his father in *A Tale of Love and Darkness* is a clear indication of this dimension of the book.

The well-known scholars and writers were impressed by Father's acuity and erudition. They knew they could always rely on his extensive knowledge whenever their dictionaries and reference works let them down.³⁶

Moreover:

My father was amazingly knowledgeable, an excellent student with a prodigious memory, an expert in world literature as well as Hebrew literature, who was at home in many languages, utterly familiar with the Tosefta, the Midrashic literature, the religious poetry of the Jews of Spain, as well as Homer, Ovid, Babylonian poetry, Shakespeare, Goethe and Adam Mickiewicz, as hard-working as a honey bee ...³⁷

As I said before, Oz's admiration for his father in the book is indubitable. Notwithstanding insinuations of the difficulties encountered by the child of such an exacting father (much less is said of the misery of the mother's life with a man she did not love), Oz does not have the courage to truly judge him. Was it indeed only the uncle's exaggerated integrity that kept his father from attaining a university faculty post? Was he really a brilliant literary researcher? Perhaps he was a mediocre one in a generation of truly great men of letters? On the other hand, empathy with the father's suffering is evident on many pages, and the story of the pain of this small family, even when told under the strictest self-censorship and in the absence of any narrative courage, especially regarding the mother, permeates much of the book. The pain remains with the reader long

Возвращаемся к Отцу, «Европецу»

Ни один немецкий интеллеktуал левых взглядов не осмелился публично критиковать эти заявления Оза. Я не хочу вдаваться в долгие рассуждения о современной немецкой идеологии и месте еврея в ней, поэтому достаточно сказать, что Оза крестят как «представителя нового еврейского европейского народа», «выпускника европейской культуры». Характер его отца в *История любви и тьмы* Это явное свидетельство этого аспекта книги.

Известные ученые и писатели были впечатлены проницательностью и эрудицией отца. Они знали, что всегда могут положиться на его обширные знания, когда дело касалось их словарей.
а справочные издания их подвели.[36](#)

Более того:

Мой отец был удивительно эрудированным человеком, превосходным учеником с феноменальной памятью, экспертом в мировой литературе, а также в еврейской литературе, свободно владел многими языками, был прекрасно знаком с Тосефтой, мицрашистской литературой, религиозной поэзией евреев Испании, а также с Гомером, Овидием, вавилонской поэзией, Шекспиром, Гёте и Адамом.

Мицкиевич, трудолюбивый, как медоносная пчела...[37](#)

Как я уже говорил, восхищение Оза своим отцом в книге несомненно. Несмотря на намеки на трудности, с которыми сталкивался ребенок такого требовательного отца (гораздо меньше говорится о страданиях матери с мужчиной, которого она не любила), у Оза не хватает смелости, чтобы по-настоящему судить его. Действительно ли только преувеличенная честность дяди помешала его отцу получить должность преподавателя в университете? Был ли он действительно блестящим литературным исследователем? Возможно, он был посредственным исследователем в поколении по-настоящему великих литераторов? С другой стороны, сочувствие к страданиям отца очевидно на многих страницах, и история боли этой маленькой семьи, даже рассказанная в условиях строжайшей самоцензуры и без какой-либо смелости в повествовании, особенно в отношении матери, пронизывает большую часть книги. Эта боль надолго остается в памяти читателя.

after the book has been put aside. The scanty Israeli criticism of *A Tale of Love and Darkness* is perhaps to be attributed to a reluctance to speak ill of a “celebrity” who has laid out in the open his very earliest suffering, after years of beating about the bush.

What interests us here is the manipulative way in which Oz constructs his tale as a version “through the eyes of the West,” meaning through the eyes of the Israeli aspiring to be part of the West, by means of an ideal, namely the European Jew epitomizing Europe-ism. The link between the Western reader and the Israeli reader is defined as follows: your fantasy will be “we are your past.” In Germany (and sometimes in France) this is part of the embarrassing tide of a Judeophile nostalgia, much deeper than a mere fad. The Jews of Europe prior to the genocide are described as an enormous community of intellectuals, and Oz excels in this direction, as these Jews are all similar to his father and all reassert the superiority of European civilization:

So there they were, these over-enthusiastic Europhiles, who could speak so many of Europe’s languages, recite its poetry, who believed in its moral superiority, appreciated its ballet and opera, cultivated its heritage, dreamed of its post-national unity and adored its manners, clothes and fashions, who had loved it unconditionally and uninhibitedly for decades, since the beginning of the Jewish Enlightenment, and had done everything humanly possible *to please it, to contribute to it in every way and in every domain, to become part of it, to break through its cool hostility with frantic courtship, to make friends, to ingratiate themselves, to be accepted, to be loved ...* [my emphasis].³⁸

There seems little need to enter into a detailed lexical analysis of the verbs in the latter part of this text, which I italicized. Do they not all describe to perfection Oz’s endeavor in his lectures, in the memoir, in the interviews, in his seemingly ridiculous quest for the love of the “European Reader”?

European Civilization and Its Victims

после того, как книга отложена в сторону. Скучная израильская критика *История любви и тьмы* Возможно, это объясняется нежеланием плохо отзываться о «знаменитости», которая после многих лет уклончивых ответов открыто рассказала о своих самых ранних страданиях.

Нас здесь интересует манипулятивный способ, которым Оз выстраивает свою историю как версию «глазами Запада», то есть глазами израильтянина, стремящегося стать частью Запада, посредством идеала, а именно европейского еврея, олицетворяющего европейскость. Связь между западным читателем и израильским читателем определяется следующим образом: ваша фантазия будет заключаться в том, что «мы — ваше прошлое». В Германии (а иногда и во Франции) это часть неловкой волны юдоофильской ностальгии, гораздо более глубокой, чем просто модное веяние. Евреи Европы до геноцида описываются как огромная община интеллектуалов, и Оз преуспевает в этом направлении, поскольку все эти евреи похожи на его отца и все они подтверждают превосходство европейской цивилизации:

Вот они, эти чрезмерно восторженные еврофилы, владевшие многими европейскими языками, декламировавшие её поэзию, верившие в её моральное превосходство, ценившие её балет и оперу, бережно хранившие её наследие, мечтавшие о её постнациональном единстве и обожавшие её обычаи, одежду и моду, которые любили её безоговорочно и без всяких ограничений на протяжении десятилетий, с самого начала еврейского Просвещения, и делали всё, что было в их силах. *Угодить ей, внести свой вклад во всех отношениях и во всех сферах, стать ее частью, прорваться сквозь ее холодную враждебность с помощью неистового ухаживания, завести друзей, расположить к себе, быть принятым, быть любимым....* [мой акцент].³⁸

Кажется, нет особой необходимости вдаваться в подробный лексический анализ глаголов в заключительной части этого текста, которую я выделил курсивом. Разве они все не описывают в совершенстве стремление Оза в его лекциях, мемуарах, интервью, в его, казалось бы, нелепом поиске любви «европейского читателя»?

Европейская цивилизация и её жертвы

The greatest wrong perpetrated in *A Tale of Love and Darkness* is the denial of the victims' true identity by the narration of an Ideal Ego (*ein Ideal Ich*). The Jewish nation that was murdered in Europe, in whose name Oz extorts empathy from the Germans, was not a nation of "Europhiles." Most of them bore little resemblance to their description in the book or in Oz's interviews in the French press, where the whole identification of Victims = Europhiles receives a grotesque expression. Most of the Jewish victims of the Nazis did not *"speak so many of Europe's languages, recite its poetry, believe in its moral superiority, appreciate its ballet and opera, cultivate its heritage, dream of its post-national unity and adore its manners, clothes and fashions."* This is simply the desecration of the memory of the victims of the Holocaust, most of whom never went to the opera, never read European poetry.

This contradiction is covered up by Israeli nationalism, Oz's own version of it of course, and the Zionism of the Israel-loving Germans or French. The point of contact between Zionism and its supporters in Europe is not religious—it is entirely based upon enthusiasm regarding the new Jew, who has appropriated, among other things, the Holocaust. Only from such a perspective could Oz have told *Die Zeit*, in the same interview in which he compared Israel to an adolescent girl (quoted above):

In adolescence I had a phobia, that as an adult I might wake up one morning and find myself speaking Yiddish. Like the fear of graying hair or the wrinkles of old age.³⁹

It takes quite a lot of vulgarity to speak so of Yiddish, the language of the Jewish people exterminated in Eastern Europe, to speak in terms of such rejection, usually to the German press, to speak thus as the representative of the victims, on behalf of the Hebrew of the "Prophets and the Tannaim." Oz deals only with the ideal self of the Israeli reader, and with that of the German reader of course. But here we should revert to his linguistic conceptions, to the place where he talks of the oral language, to where he stands in adoration of the Hebrew of the Prophets: "spoken languages are all so slim and poor." The real people, those who never frequented operas or

Величайшее злодеяние, совершенное в *История любви и тьмы* отрицание истинной личности жертв посредством повествования от лица Идеального Эго (*ein Ideal Ich* Еврейский народ, убитый в Европе, от имени которого Оз выманивает сочувствие у немцев, не был нацией «еврофилов». Большинство из них мало походили на описание в книге или в интервью Оза французской прессе, где вся эта идентификация жертв как еврофилов получает гротескное выражение. Большинство еврейских жертв нацистов не были «*Он говорит на многих европейских языках, декламирует его поэзию, верит в его моральное превосходство, ценит его балет и оперу, бережно хранит его наследие, мечтает о его постнациональном единстве и обожает его манеры, одежду и моду*». Это просто осквернение памяти жертв Холокоста, большинство из которых никогда не были в опере и никогда не читали европейскую поэзию.

Это противоречие маскируется израильским национализмом, конечно же, собственной версией израильского национализма Оза, и сионизмом любящих Израиль немцев или французов. Точка соприкосновения между сионизмом и его сторонниками в Европе не религиозная — она полностью основана на энтузиазме по отношению к новому еврею, который, помимо прочего, присвоил себе Холокост. Только с такой точки зрения Оз мог рассказать *Время* В том же интервью, где он сравнил Израиль с девочкой-подростком (цитата выше):

В подростковом возрасте у меня была фобия: я боялась, что, став взрослой, однажды утром проснусь и обнаружу, что говорю на идише. Как и...
страх перед седыми волосами или морщинами старости.³⁹

Нужно немало вульгарности, чтобы так говорить о идише, языке еврейского народа, истребленного в Восточной Европе, говорить в таком контексте, обычно обращаясь к немецкой прессе, говорить так, выступая в качестве представителя жертв от имени иврита «пророков и таннаев». Оз рассматривает только идеальный образ израильского читателя, и, конечно же, немецкого. Но здесь следует вернуться к его лингвистическим представлениям, к тому месту, где он говорит об устной речи, к тому месту, где он с восхищением относится к ивritу пророков: «устные языки все такие узкие и бедные». Реальные люди, те, кто никогда не посещал оперы или

concerts, those who were deported en masse to the camps and to their deaths, were not “ideal” in any sense. They loved their spoken language, their world which was burnt down; they were real. And Oz cannot face up to the real.

The Foreign Ears

At the heart of Oz’s literary endeavor there is the appeal to the West: (only) we are of your own flesh, though you have rejected us. It is no coincidence that this rationale sounds “feminine.” At the center of the rhetoric Oz explains what exonerates us, what justifies us, what renders us blameless that may never have existed, and the version that he offers us is nothing more than a plea for acquittal from Germany, which is always in that context Western Culture:

Europe has now changed completely, and is full of Europeans from wall to wall. Incidentally, the graffiti in Europe have also changed from wall to wall. When my father was a young man in Vilna, every wall in Europe said, “Jews go home to Palestine.” Fifty years later, when he went back to Europe on a visit, the walls all screamed: “Jews get out of Palestine.”⁴⁰

Beyond this assertion, the straightforward one which refers not to the Holocaust but to anti-Zionism, and if we abstract from the implied suggestion that anti-Zionism is embodied in chance graffiti somewhere in Europe (weren’t there hundreds or thousands of anti-Zionist or pro-Palestinian slogans that protested the occupation of Lebanon or the West Bank and Gaza?), we find here a rhetorical device that makes an enormous generalization out of a small aleatory detail. This is the Oz method, like a rhetorical bulldozer and without finesse. Beyond all this there is something even more objectionable: the way the Israeli talks as one who talks specifically to the “German,” to the Goy as the “son of the anti-Semite.” What can be cheaper than the following statements with regard to Lotte Wershner, the mother of Oz’s son-in-law, and her sister Margarete, in Frankfurt, while receiving the Goethe Prize, in August of 2005?

Те, кто массово депортировали в лагеря на верную смерть, не были «идеальными» ни в каком смысле. Они любили свой родной язык, свой мир, который был сожжен дотла; они были реальными. А Оз не может взглянуть правде в глаза.

Иностранные уши

В основе литературного замысла Оза лежит обращение к Западу: (только) мы — от вашей плоти, хотя вы нас и отвергли. Неслучайно это обоснование звучит «женственно». В центре риторики Оз объясняет, что нас оправдывает, что нас защищает, что делает нас непорочными, чего, возможно, никогда и не существовало, и предлагаемая им версия — не что иное, как мольба об оправдании со стороны Германии, которая всегда в этом контексте является западной культурой:

Европа теперь полностью изменилась и полна европейцев от стены до стены. Кстати, граффити в Европе тоже изменились. Когда мой отец был молодым человеком в Вильне, на каждой стене в Европе было написано: «Евреи, возвращайтесь домой в Палестину». Пятьдесят лет спустя, когда он вернулся в Европу...

Во время визита стены буквально кричали: «Евреи, убирайтесь из Палестины!»⁴⁰

Помимо этого утверждения, прямолинейного, которое относится не к Холокосту, а к антисиионизму, и если мы абстрагируемся от подразумеваемого предположения, что антисиионизм воплощен в случайных граффити где-то в Европе (разве не было сотен или тысяч антисиионистских или пропалестинских лозунгов, протестовавших против оккупации Ливана, Западного берега и Газы?), мы обнаружим здесь риторический прием, который делает огромное обобщение из небольшой случайной детали. Это метод Оза, подобный риторическому бульдозеру, лишенному всякой тонкости. Помимо всего этого, есть нечто еще более предосудительное: то, как израильтянин говорит, обращаясь конкретно к «немцу», а гой — к «сыну антисемита». Что может быть дешевле, чем следующие заявления Лотте Вершнер, матери зятя Оза, и ее сестры Маргаретты, сделанные во Франкфурте во время вручения премии Гёте в августе 2005 года?

Lotte and her sister Margarete were transferred to Theresienstadt. I wish I could tell you they were both liberated from the camp thanks to peace demonstrators carrying Make Love Not War banners. But in fact no idealistic pacifists liberated them but combatants clad in helmets and armed with machine guns. We, the Israeli peace activists, never forget this lesson, not even as we struggle against our country's handling of the Palestinians, not even as we work towards peace between Israel and Palestine through a compromise one can live with.

Here, again, slowly but surely, an analogy is drawn between the enemies of Jewish existence, the Nazis, and the peace activists of the sixties in Germany, and in the West in general. On the other extreme end of the equation stands the Zionist left—that “supports compromise” but serves in the army. This is an army “in general”—an army that ensures Jewish survival and liberates Jews—whom peace demonstrators did nothing to save from extermination—from Theresienstadt. This is talk for foreign ears, translated into Hebrew, not the other way round. And this procedure recurs throughout the book, as well as in the booklet of essays *On the Slopes of the Volcano*. In the latter the target is no longer camouflaged—it is Germany and Western Europe—but in the memoir it is the Hebrew reader relishing the fact that the West is our Other: the West sees us, hears us, knows us better now, after we told them what their parents did to us, without mentioning, of course, the occupation or the separation wall.

Amos Oz turns to the Europeans and says to them: we are your own flesh and blood; and to the Israelis he says: we are their own flesh and blood. As far as he and his readers—Europeans and Israelis alike—are concerned, the Jews are the mirror. It is enough to peek at the three essays he wrote in *The Slopes of the Volcano* to realize what tender German/Western eyes rest upon Oz, and how well this serves him.

And then there are the books.

Лотте и ее сестре Маргаретте перевели в Терезиенштадт. Хотелось бы сказать, что их обеих освободили из лагеря благодаря мирным демонстрантам, шедшим с плакатами «Любите, а не воюйте». Но на самом деле их освободили не идеалистичные пацифисты, а комбатанты в касках, вооруженные автоматами. Мы, израильские активисты за мир, никогда не забываем этот урок, даже когда боремся против отношения нашей страны к палестинцам, даже когда работаем над достижением мира между Израилем и Палестиной путем компромисса, приемлемого для всех.

Здесь, снова, медленно, но верно, проводится аналогия между врагами еврейского существования, нацистами, и борцами за мир шестидесятых годов в Германии и на Западе в целом. На другом полюсе уравнения стоит сионистское левое крыло, которое «поддерживает компромисс», но служит в армии. Это армия «в целом» — армия, которая обеспечивает выживание евреев и освобождает евреев, которых участники мирных демонстраций никак не спасли от истребления, из Терезиенштадта. Это слова для иностранного слуха, переведенные на иврит, а не наоборот. И этот прием повторяется на протяжении всей книги, а также в сборнике эссе. *На склонах вулкана* В последнем случае цель уже не замаскирована — это Германия и Западная Европа, — но в мемуарах это еврейский читатель, наслаждающийся тем фактом, что Запад — это наше Другое: Запад видит нас, слышит нас, знает нас лучше теперь, после того как мы рассказали им, что их родители сделали с нами, не упоминая, конечно, оккупацию или разделительную стену.

Амос Оз обращается к европейцам и говорит им: мы — ваша плоть и кровь; а израильтянам он говорит: мы — их плоть и кровь. Для него и его читателей — как европейцев, так и израильтян — евреи являются зеркалом. Достаточно взглянуть на три эссе, которые он написал в *Склоны вулкана* осознать, какой нежный взгляд немецко-западных глаз устремлен на Оза, и как хорошо это ему служит.

А еще есть книги.

That is to say, there were always books. In almost every home we had in Jerusalem German books or Hebrew books that had been translated from the German even before WWII—Goethe, Schiller, Kleist and Heine, Thomas Mann and Erich Maria Remarque.⁴¹

Once upon a time, there was a Holocaust and an emotional breakdown; then came reconciliation, and then the return of literature:

And so, Gunter Grass, Heinrich Boll, Ingeborg Bachmann, Uwe Johnson and especially my beloved friend Siegfried Lenz, opened the door to Germany for me. These writers and a handful of dear personal friends in Germany caused me to lift the boycott and to open up my mind and after a while—my heart too. They reacquainted me with the medicinal capacities of literature.⁴²

And then, after this piousness of a seemingly personal story as a means of telling the general narrative, comes the usual conclusion—having slung dirt at whoever sympathizes with the non-European, that is, with the Other always ingratiating, he says:

To imagine the Other is not a mere aesthetic tool. To visualize the Other is to my mind an important moral dictum.

This and more—to imagine the Other, if you promise to keep the secret, is also a distinctly sublime and refined human pleasure.⁴³

And the only question is what Other is Oz capable of visualizing? From the vision of what Other does he derive pleasure?

The Motherland

None of this tells us much about the path Oz would like us to follow—that which leads to his mother's death. The child has grown up, and yet he prefers to recreate the pain of the child and not to talk of

Иными словами, книги были всегда. Почти в каждом доме в Иерусалиме у нас были немецкие или еврейские книги, переведенные с немецкого еще до Второй мировой войны. - Гете, Шиллер, Клейст и Гейне, Томас Манн и Эрих Мария Ремарк.⁴¹

Жили-были Холокост и эмоциональный кризис; затем наступило примирение, а потом — возрождение литературы:

И вот, Гюнтер Грасс, Генрих Бёлль, Ингеборг Бахманн, Уве Джонсон и особенно мой любимый друг Зигфрид Ленц открыли мне двери в Германию. Эти писатели и несколько дорогих мне друзей в Германии заставили меня снять бойкот и открыть свой разум, а через некоторое время — и сердце. Они вновь познакомили меня с целебными свойствами Германии. литературы.⁴²

А затем, после этой благочестивой, казалось бы, личной истории как средства изложения общего повествования, следует обычный вывод: он поливает грязью всех, кто сочувствует неевропейцам, то есть всегда заискивает перед «Другим», говоря:

Представлять Другого — это не просто эстетический инструмент. Визуализация Другого, на мой взгляд, является важным моральным принципом.

И это еще не все — представить Другого, если пообещать сохранить секрет, — это тоже в высшей степени возвышенное и утонченное человеческое качество. удовольствие.⁴³

И единственный вопрос заключается в том, какое Другое способен визуализировать Оз? Получает ли он удовольствие от видения этого Другого?

Родина

Всё это мало что говорит нам о том пути, по которому Оз хотел бы, чтобы мы следовали. — то, что привело к смерти его матери. Ребенок вырос, и все же он предпочитает воссоздавать боль ребенка и не говорить о ней.

the pain of the adult as he recalls the life of the miserable child. Because the thread must pass through Oz's emotional world, and that world is embedded painfully deep in the heart of the confused reader as well. This literary endeavor is a form of fetishism that expresses above all a fear of the void underlying reality, a fear of undermining what has been achieved. The fear of nullity is a worthy subject, but one which Oz cannot truly address. This is due to his fear of the "bad reader."

Sometimes, in little glimmers, Oz isolates a sort of mysterious feeling of communion. At such moments he uses that affected authoritative voice that we already know to glorify the writing of the ancients, and through it he remembers his parents.

I can see them standing there, at the end of the world, on the edge of the wilderness, both very tender, like a pair of teddy bears, arm in arm, with the evening breeze of Jerusalem blowing above their heads ...⁴⁴

Sometimes, especially with regard to the figure of his father, the description is not entirely lacking in sophistication, coming as it does against the background of the Revisionist milieu of Jerusalem, which Oz exchanged for other father figures—the Labor Party tradition—so great was his desire to move on from his parental abode.

The whole process of "conversion," however, instead of occupying the center of the memoir, is barely discernible under the enfolding folklore. Instead of allowing his "guilt complex" (expressed only in the melodramatic declaration "I killed my father" when he recounts his change of name from Klausner to Oz) to become the heart of the drama, he defuses it by delving into a comparison between the two groupings, the one he left and the one he joined. In the Kibbutz the great expulsion of the Arabs in 1948 was seen as justified, and there, as among Jerusalem's Nationalists, they talked in favor of ethnic cleansing. Oz is afraid of doubt, of the tragic. So much so indeed that the "conversion" itself—the heart of the drama between himself and his father—is used as the story's comic relief. A three-page scene is devoted to a speech by Menachem Begin in which he talks of "taking up arms" using a verb that for the younger

Боль взрослого, вспоминающего жизнь несчастного ребенка. Потому что эта нить должна проходить через эмоциональный мир Оза, а этот мир мучительно глубоко укоренен и в сердце растерянного читателя. Это литературное начинание — форма фетишизма, выражающая прежде всего страх перед пустотой, лежащей в основе реальности, страх подорвать достигнутое. Страх перед пустотой — достойная тема, но Оз не может по-настоящему ее затронуть. Это связано с его страхом перед «плохим читателем».

Иногда, в едва заметных проблесках, Оз высвобождает некое таинственное чувство единения. В такие моменты он использует тот манерный, авторитетный голос, который мы уже знаем, чтобы прославлять труды древних, и через него вспоминает своих родителей.

Я вижу, как они стоят там, на краю света, на опушке пустыни, оба очень нежные, словно пара плюшевых мишек, под руку, в лучах вечернего ветерка Иерусалима. дует над их головами...[44](#)

Иногда, особенно в отношении образа его отца, описание не лишено изысканности, поскольку оно происходит на фоне ревизионистской среды Иерусалима, которую Оз сменил на другие отцовские фигуры — традиции Лейбористской партии — настолько велико было его желание покинуть родительский дом.

Однако сам процесс «обращения», вместо того чтобы занимать центральное место в мемуарах, едва различим под окружающим его фольклором. Вместо того чтобы позволить своему «комплексу вины» (выраженному лишь в мелодраматическом заявлении «Я убил своего отца», когда он рассказывает о смене имени с Клауснера на Оза) стать сердцем драмы, он смягчает его, углубляясь в сравнение двух группировок: той, которую он покинул, и той, к которой он присоединился. В кибуце массовое изгнание арабов в 1948 году считалось оправданным, и там, как и среди иерусалимских националистов, говорили в пользу этнических чисток. Оз боится сомнений, трагического. Насколько, что само «обращение» — сердце драмы между ним и его отцом — используется как комический элемент повествования. Трехстраничная сцена посвящена речи Менахема Бегина, в которой он говорит о «взятии в руки оружия», используя глагол, который для более молодого возраста

generation of his day meant “getting laid.” Even assuming that this all actually happened, the same joke can be found in an earlier book attributed to some other public figure of the day. All that remains of Oz’s dramatic turning away from his father and his father’s family is a comic event—the child sniggering in a Begin meeting and cutting himself off from the family. The Oedipus complex, so central to the memoir, has been reduced to a bad joke.

Oz refers a few times, along the way, to his mother’s suicide, but he puts off tackling it until near the end of the book. The heart, the core of his pain, is found in the attempt to reconstruct the things he would have said to her had he had the chance. And although this is a melodramatic technique in its most blatant form, it is nevertheless a heart-rending instance:

If I had been there with her in that room overlooking the back yard in Haya and Tsvi’s apartment at that moment, at half past eight or a quarter to nine on that Saturday evening, I would certainly have tried my hardest to explain to her why she mustn’t. And if I did not succeed I would have done everything possible to stir her compassion, to make her take pity on her only child. I would have cried and I would have pleaded without any shame and I would have hugged her knees, I might even have pretended to faint or I might have hit and scratched myself till the blood flowed as I had seen her do in moments of despair.⁴⁵

This is how Oz excuses his perpetual appeal to the guilt complex of others and to their pity. It would have been less reprehensible had he not so fused the history of the establishment of the State of Israel with the martyrdom of the book’s victim, his mother—indeed, that of his father and himself too.

One of the two rooms in Haya and Tsvi Shapiro’s ground-floor apartment at 175 Ben Yehuda Street in Tel Aviv was sublet to various senior commanders of the Haganah. In 1948, during the War of Independence, Major General Yigael Yadin, who was head of operations and deputy Chief of Staff of the newly

Для поколения его времени «переспать с кем-нибудь» означало именно это. Даже если предположить, что всё это действительно произошло, ту же шутку можно найти в более ранней книге, приписываемой какой-то другой общественной фигуре того времени. От драматического отчуждения Оза от отца и его семьи остался лишь комический эпизод — ребёнок, хихикающий на собрании Бегина и отгораживающийся от семьи. Эдипов комплекс, столь центральный в мемуарах, сведён к неудачной шутке.

В ходе повествования Оз несколько раз упоминает самоубийство своей матери, но затрагивает эту тему лишь ближе к концу книги. Суть его боли заключается в попытке воссоздать то, что он сказал бы ей, если бы у него была такая возможность. И хотя это мелодраматический приём в его самой очевидной форме, тем не менее, это душераздирающий эпизод:

Если бы я был там с ней в той комнате с видом на задний двор в квартире Хайи и Цви в тот момент, в половине десятого или в без пятнадцати девять субботнего вечера, я бы, конечно, изо всех сил пытался объяснить ей, почему она не должна этого делать. А если бы мне это не удалось, я бы сделал все возможное, чтобы пробудить в ней сострадание, чтобы она пожалела своего единственного ребенка. Я бы плакал и умолял без всякого стыда, я бы обнял ее за колени, я мог бы даже притвориться, что падаю в обморок, или мог бы бить и царапать себя до крови, как я видел, как она это делала раньше.

моменты отчаяния.⁴⁵

Так Оз оправдывает свои постоянные апелляции к комплексу вины других и к их жалости. Это было бы менее предосудительно, если бы он не смешивал историю создания Государства Израиль с мученической смертью жертвы книги, своей матери, — и, по сути, своего отца, и себя самого.

Одна из двух комнат в квартире Хайи и Цви Шапиро на первом этаже дома № 175 по улице Бен-Йехуда в Тель-Авиве сдавалась в субаренду различным высокопоставленным командирам Хаганы. В 1948 году, во время Войны за независимость, генерал-майор Игаэль Ядин, возглавлявший оперативное подразделение и заместитель начальника штаба недавно созданной Хаганы, сдавал её в субаренду.

established Israeli army, lived there. Conferences were held there at night, with Israel Galili, Yitzhak Sadeh, Yaakov Dori, leaders of the Haganah, advisers and officers. Three years later, in the same room, my mother took her own life.⁴⁶

The most terrible moment, almost at the very end of the book, is recounted in the same ironic tone, and there it becomes fused with the presence of Germany in our lives:

My mother ended her life at her sister's apartment in Ben Yehuda Street, Tel Aviv, in the night between Saturday and Sunday, January 6, 1952. There was a hysterical debate going on in the country at the time about whether or not Israel should demand and accept reparations from Germany on account of property of Jews murdered during the Hitler period.⁴⁷

Were it not political manipulation we were dealing with, embarrassing for the German or Western reader, one could salute this compelling need of the writer, his wish for omnipotence in face of all the impotence—the lost mother as representative of the West. But we can interpret things in an inverse manner. In the face of impotence, Oz has to put up a façade of omnipotence. So he has to parade as a writer who is representative of the Jewish Nation and thus also of the European readership, a shield put up to save Western civilization from the evil dragon of “multiculturalism” and the East in general. Alas, here, the most intimate memory is lost. At the end of a whole story devoted to his parading as an exiled expert on German culture, his mother's suicide, described as occurring on the day when the issue of reparations from Germany was fought out, becomes just another element of the Zionist Revival. The Israeli reader may take pleasure in the distaste of the departed grandmother for the dirty and disease-infested East. He may, at the same time, be indifferent with regard to the East as it is now, now that we ourselves are Westerners and that everything is fine—between the Europeans and us, that is. Because Oz is one of us and

Он основал израильскую армию и жил там. По ночам там проводились конференции с участием Исраэля Галили, Ицхака Саде, Яакова Дори, лидеров Хаганы, советников и офицеров. Три года.

Позже, в той же комнате, моя мать покончила с собой.⁴⁶

Самый ужасный момент, почти в самом конце книги, описывается в том же ироническом тоне, и там он сливается с присутствием Германии в нашей жизни:

Моя мать покончила с собой в квартире своей сестры на улице Бен-Йехуда в Тель-Авиве в ночь с субботы на воскресенье, 6 января 1952 года. В то время в стране разгорелись ожесточенные дебаты о том, должен ли Израиль требовать и принимать репарации от Германии за имущество евреев, убитых во время правления Гитлера. период.⁴⁷

Если бы мы не имели дело с политической манипуляцией, неприятной для немецкого или западного читателя, можно было бы приветствовать эту навязчивую потребность писателя, его стремление к всемогуществу перед лицом всего бессилия — потерянная мать как олицетворение Запада. Но мы можем интерпретировать вещи в обратном ключе. Перед лицом бессилия Оз должен создать видимость всемогущества. Поэтому он должен выставить себя писателем, представляющим еврейский народ и, следовательно, европейскую читательскую аудиторию, щитом, воздвигнутым, чтобы спасти западную цивилизацию от злого дракона «мультикультурализма» и Востока в целом. Увы, здесь теряется самая сокровенная память. В конце целой истории, посвященной его выдаче себя за изгнанного эксперта по немецкой культуре, самоубийство его матери, описанное как произошедшее в день, когда решался вопрос о репарациях от Германии, становится всего лишь еще одним элементом сионистского возрождения. Израильский читатель, возможно, получит удовольствие от неприязни покойной бабушки к грязному и кишасшему болезнями Востоку. В то же время он может быть равнодушен к Востоку в его нынешнем состоянии, теперь, когда мы сами стали западными людьми и что между европейцами и нами все в порядке. Потому что Оз — один из нас, и

one of them, and the Holocaust, too, belongs to us all—to the entire West.

Pieds Noirs

One could say that all this is part of a literary world market and the tactics for achieving fortune or fame. One could also speak of that market and of the relationship between center and margins. Oz, just like most provincials selling prose to the center, oscillates between using marginality to his advantage and denying any difference between the margins and the center. Yet there is a difference, a deep one, one that does not disappear just because you close your eyes to it.

Israeli culture—as a very problematic segment of existing Judaic cultures—maintains complex relations with Western culture. Even the idea of nationalism attracts Israelis as a way of becoming “normal,” that is, becoming “like the West,” the model to which we all had to adopt our vision of ourselves. Under the auspices of nationalistic Europe, nationalism has come to be identified with the trinity constituted by territory-language-people.

The situation is even more complicated. Our forefathers adjusted their culture to a foreign model, in a long and tortuous process, with physical extermination as one of its stages, and this dislocation has never been mended. On the contrary—Zionism took it one step further when it promised the Jews that it would be mended through the colonization of another people. As we have noted, Herzl defined the settlement in Asia, at one and the same time, as an escape from anti-Semitism and as a bulwark for the West against the barbarians of Asia.

Conformity with European norms (in dress habits, for example, over the last two centuries) was achieved by accepting an internal contradiction that was never resolved. Western civilization had no need to resolve it in order to “be itself.” But the Jews, in order to “be themselves,” had to divide themselves between being a Jew (“at home”) and being a human (outdoors). As far as the Christian is concerned, no such duality exists, for, in the context of the culture of which we speak, being a man is tantamount to being a (Caucasian) Christian. This is the very heart of European colonialism. Israeli Jews are a very special kind of *colonized colonizers*, a late, perhaps the latest, version of *pieds noirs*. In short: we are part of you as long as we are here. To claim otherwise requires a lot of narcissistic denial, a lot of darkness and a lot of self-love.

Одна из них, и Холокост тоже, касается всех нас — всего Запада.

Pieds Noirs

Можно сказать, что всё это часть мирового литературного рынка и тактики достижения богатства или славы. Можно также говорить об этом рынке и о взаимоотношениях между центром и периферией. Оз, как и большинство провинциалов, продающих прозу центру, колеблется между использованием маргинальности в своих интересах и отрицанием каких-либо различий между периферией и центром. И всё же разница существует, глубокая, которая не исчезает только потому, что вы закрываете на неё глаза.

Израильская культура — как весьма проблематичный сегмент существующих иудейских культур — поддерживает сложные отношения с западной культурой. Даже идея национализма привлекает израильтян как способ стать «нормальными», то есть «похожими на Запад», модель, на которую мы все должны были ориентироваться в своем представлении о себе. Под эгидой националистической Европы национализм стал отождествляться с триединством, образованным территорией, языком и народом.

Ситуация ещё сложнее. Наши предки адаптировали свою культуру к чужой модели в долгом и мучительном процессе, одним из этапов которого было физическое истребление, и этот дисбаланс так и не был восполнен. Напротив, сионизм пошёл ещё дальше, пообещав евреям, что это будет исправлено посредством колонизации другого народа. Как мы уже отмечали, Герцль определял заселение Азии одновременно как бегство от антисемитизма и как оплот Запада против варваров Азии.

Соответствие европейским нормам (например, в одежде за последние два столетия) было достигнуто путем принятия внутреннего противоречия, которое так и не было разрешено. Западная цивилизация не нуждалась в его разрешении, чтобы «быть собой». Но евреям, чтобы «быть собой», приходилось разделяться между тем, чтобы быть евреем («дома») и быть человеком (на улице). Что касается христианина, то такой двойственности не существует, ибо в контексте культуры, о которой мы говорим, быть мужчиной равносильно быть (кавказцем).

Христианство. Это сама суть европейского колониализма. Израильские евреи — это особый вид евреев. *колонизированные колонизаторы* поздняя, возможно, самая новая версия *pieds noirs* Короче говоря: мы — часть вас, пока мы здесь. Утверждать обратное требует большого количества нарциссического отрицания, много тьмы и много любви к себе.

IV

“I Don’t Even Want to Know Their Names”— On Hatred for the East: A. B. Yehoshua and the Shame of Being Sephardi

Immediately after the outbreak of the Second Lebanon War in July 2006, as the destruction and brutality were reaching a peak, the novelist and essayist A. B. Yehoshua told *Haaretz*, in his characteristically crude way, speaking in Hebrew about the Arabs: “Finally, we’ve got a just war, so we don’t need to gnaw it too much until it becomes unjust.”¹ Yehoshua, of course, was no less supportive of the previous wars. In all of them, he regarded Israel as just. He supported the Israeli Defence Forces when the second intifada erupted in 2000 and he backed the IDF when the First Lebanon War began in 1982. So what is at issue is less the fact of his support, and more the brutal style in which he defended the war: “Finally, we’ve got a just war.” At that time, there were already hundreds of thousands of Lebanese refugees; villages and cities had been bombed, with many killed in the name of “justice.” The brutality of that war did not suddenly emerge. It developed over a period of many years, sometimes far from the eyes of the world media. Here is

IV

«Я даже не хочу знать их Имена» — О ненависти к Востоку: А. Б. Йехошуа и Позор быть сефардом

Сразу после начала Второй ливанской войны в июле 2006 года, когда разрушения и жестокость достигли своего пика, писатель и эссеист А.Б. Йехошуа рассказал: *Хаарец* В своей характерной грубой манере, говоря на иврите об арабах: «Наконец-то у нас справедливая война, так что нам не нужно слишком долго её тянуть».

до тех пор, пока это не станет несправедливым.¹ Иешуа, конечно же, не менее щедро поддерживал предыдущие войны. Во всех них он считал Израиль справедливым. Он поддержал Армию обороны Израиля, когда в 2000 году разразилась вторая интифада, и поддержал ЦАХАЛ, когда в 1982 году началась Первая ливанская война. Таким образом, вопрос заключается не столько в самом факте его поддержки, сколько в жестоком стиле, в котором он защищал войну: «Наконец-то у нас справедливая война». В то время уже были сотни тысяч ливанских беженцев; деревни и города были разбомблены, многие погибли во имя «справедливости». Жестокость этой войны не проявилась внезапно. Она развивалась в течение многих лет, порой вдали от глаз мировых СМИ. Вот что

part of an interview with Yehoshua which was conducted in the spring of 2004, prior to the publication of his book *Mission of the Human Resource Man* (the italic parts in the following text appeared only in the Hebrew version of the article; the English editors of *Haaretz* chose not to include these parts in their own version of this interview):

It's possible that there will be a war with the Palestinians. It's not necessary, it's not impossible. But if there is a war, it will be a very short one. Maybe a war of six days. Because after we remove the settlements and after we stop being an occupation army, *all the rules of war will be different*. We will exercise our full force. We will not have to run around looking for this terrorist or that instigator—we *will make use of force against an entire population*. We will use total force. Because from the minute we withdraw *I don't even want to know their names. I don't want any personal relations with them*. I am no longer in a situation of occupation and policing and B'Tselem [the human rights organization]. Instead, I will be standing opposite them in a position of nation versus nation. State versus state. I am not going to perpetrate war crimes for their own sake, but I will use all my force against them. If there is shooting at Ashkelon, there is no electricity in Gaza. We shall use force against an entire population. We shall use total force. It will be a totally different war. It will be much harder on the Palestinians. If they shoot Qassam missiles at Ashkelon, we will cut electricity to Gaza. We shall cut communications in Gaza. We shall prevent fuel from entering Gaza. We will use our full force as we did on the Egyptian [Suez] Canal in 1969. And then, when the Palestinian suffering will be totally different, much more serious, they will, by themselves, eliminate the terror. The Palestinian nation will overcome terrorism itself. It won't have any other choice. Let them stop the shooting. No matter if it is the PA [Palestinian Authority] or the Hamas. Whoever takes responsibility for the fuel, electricity and hospitals, and sees that they do not function, will operate within a few days to stop the shooting of the

Фрагмент интервью с Йехошуа, проведенного весной 2004 года, до публикации его книги. *Миссия специалиста по управлению персоналом* (Выделенные курсивом части текста в следующем тексте присутствовали только в ивритской версии статьи; английские редакторы Хаарец (они решили не включать эти части в свою версию этого интервью):

Вполне возможно, что будет война с палестинцами. Это не обязательно, но и не невозможно. Но если война и будет, то очень короткая. Возможно, всего шесть дней. Потому что после того, как мы ликвидируем поселения и перестанем быть оккупационной армией, *Правила ведения войны будут другими*. Мы применим всю свою силу. Нам не придётся бегать в поисках того или иного террориста или подстрекателя. *мы применим силу против всего населения* Мы применим тотальную силу. Потому что с момента нашего отступления *Я даже не хочу знать их имена. Я не хочу с ними никаких личных отношений*. Я больше не нахожусь в ситуации оккупации, полицейского контроля и деятельности организации «Б'Целем» [правозащитная организация]. Вместо этого я буду стоять напротив них в позиции противостояния нации и государства. Я не собираюсь совершать военные преступления ради них самих, но я применю против них всю свою силу. Если в Ашкелоне начнут стрелять, в Газе не будет электричества. Мы применим силу против всего населения. Мы применим тотальную силу. Это будет совершенно другая война. Она будет намного тяжелее для палестинцев. Если они будут обстреливать Ашкелон ракетами «Кассам», мы отключим электричество в Газе. Мы отключим связь в Газе. Мы предотвратим поставку топлива в Газу. Мы применим всю нашу силу, как мы это сделали с египетским [Суэцким] каналом в 1969 году. И тогда, когда страдания палестинцев будут совершенно другими, гораздо более серьезными, они сами искоренят террор. Палестинская нация сама преодолет терроризм. У нее не будет другого выбора. Пусть прекратят стрельбу. Неважно, Палестинская автономия это или ХАМАС. Тот, кто возьмет на себя ответственность за топливо, электричество и больницы и позаботится о том, чтобы они не функционировали, в течение нескольких дней приступит к действиям, чтобы остановить стрельбу.

Qassams. This new situation will totally change the rules of the game. Not a desired war, but definitely a purifying one. A war that will make it clear to the Palestinians that they are sovereign. The suffering they will go through in the post-occupation situation will make clear to them that they must stop the violence, because now they are sovereign. From the moment we retreat I don't want to know their names at all. I don't want any personal relationship with them, and I am not going to commit war crimes for their own sake.²

Note this short sentence: "We will not have to run around looking for this terrorist or that instigator." In March 2004, when the interview was conducted, the systematic killing of intifada activists in the occupied territories had reached the proportions of daily manhunts—with jails and prisons crammed full, detention camps crowded, long lines of Palestinians stuck at IDF checkpoints for many hours, and the IDF indiscriminately killing what it called "terrorists en route to attacks in Israel," which was actually a systematic expansion of the activity of its death squads. But it is important for me to consider the terrorist logic of the strategist A. B. Yehoshua: "they" fire a Qassam (who are "they"?), and "we" stop the flow of electricity to them (who are "them"?). How easy it is to shut off electricity for the infants of Gaza! How simple to deplete the fuel in Gaza's hospitals and in its water pumps, "because they fire a Qassam"! This is terrorist logic par excellence.

When the IDF shut off the electricity in Gaza in June 2006, and when Ehud Olmert said in his characteristically boorish way, "Dialysis patients don't die from this," the systematic shut-off of electricity was the implementation of a plan A. B. Yehoshua had proposed. This is how an intellectual can kill. Yehoshua did not invent this sadism, nor did the Israeli radio listeners who called in demanding the cutting off the water to "them" or that "they" should be bombed or massacred. Neither the "people" nor the writer, "a member of the peace camp," had invented this. The IDF had already committed such crimes in the past, for example the mass starvation techniques during the first intifada, the cutting off of electricity in Beirut back in the winter of 1998, and previous bombings of many

Кассамс. Эта новая ситуация полностью изменит правила игры. Нежелательная война, но определенно очищающая. Война, которая ясно покажет палестинцам их суверенитет. Страдания, которые они переживут в постоккупационной ситуации, ясно покажут им, что они должны прекратить насилие, потому что теперь они суверенны. С момента нашего отступления я не хочу знать их имен вообще. Я не хочу никаких личных отношений с ними, и я не собираюсь этого делать.

собираются совершать военные преступления ради самих себя.²

Обратите внимание на это короткое предложение: «Нам не придётся бегать в поисках того террориста или того подстрекателя». В марте 2004 года, когда проводилось интервью, систематические убийства активистов интифады на оккупированных территориях достигли масштабов ежедневных охот на людей: тюрьмы и исправительные учреждения были переполнены, лагеря для задержанных переполнены, длинные очереди палестинцев застревали на контрольно-пропускных пунктах ЦАХАЛ на долгие часы, а ЦАХАЛ без разбора убивал тех, кого называл «террористами, направляющимися к местам нападения в Израиле», что на самом деле представляло собой систематическое расширение деятельности его эскадронов смерти. Но для меня важно рассмотреть террористическую логику стратега А. Б. Йехошуа: «они» стреляют из «Кассамы» (кто такие «они?»), а «мы» перекрываем им подачу электроэнергии (кто такие «они?»). Как легко отключить электричество младенцам Газы! Как просто истощить запасы топлива в больницах и водопроводных станциях Газы, «потому что они стреляют из «Кассамы»!» Это типичная террористическая логика.

Когда в июне 2006 года Армия обороны Израиля отключила электричество в Газе, и когда Эхуд Ольмерт в своей характерной грубой манере заявил: «От этого не умирают пациенты, находящиеся на диализе», систематическое отключение электроэнергии было реализацией плана, предложенного А.Б. Йехошуа. Вот как может убивать интеллект. Йехошуа не изобрел этот садизм, как и израильские радиослушатели, которые звонили и требовали отключить воду «им» или бомбить или убивать «их». Ни «народ», ни писатель, «член лагеря мира», не изобрели этого. Армия обороны Израиля уже совершала подобные преступления в прошлом, например, массовые голодовки во время первой интифады, отключение электричества в Бейруте зимой 1998 года и предыдущие бомбардировки многих городов.

population centers, including all of the Egyptian canal cities. Nonetheless, even in this context, it is worth noting the climax of the interview with A. B. Yehoshua in 2004: “Not a desired war, but definitely a purifying one. A war that will make it clear to the Palestinians that they are sovereign.” Would I be wrong to suggest that this is a fascistic text?

It is worth noting the ease with which people like A. B. Yehoshua are sold in the Western market as “peaceniks.” In Italy, for reasons that we cannot go into here, this took on the most grotesque form. While those attending A. B. Yehoshua’s lecture at Tel Aviv University were handed copies of the interview by protesting left-wing academics, the author received the Naples peace prize along with with Tariq Ali from Britain.

On September 1, 2000, on the very eve of the second intifada, Dutch television broadcast a dialogue between Yehoshua and the Palestinian writer and filmmaker from Ramallah Liana Bader. Yehoshua was introduced as “a peace activist who is almost persecuted in Israel for being a leftist.” He spoke with an increasing tone of superiority toward Bader, who complained about Palestinian distress during the Oslo era. Here is how Yehoshua preached to her:

Now I am really angry, I am really angry because you are not being fair. There was an intifada here and every day a Palestinian was wounded and there were Israelis wounded too; there was war all the time. It’s been three or four years now without terror. Everything is calm, there are no demonstrations, maybe just here and there, but less. So you can’t say that the situation is the same. There is improvement ...

Bader argued:

I have no state, I have no security and all around me my land is being constantly robbed—

Yehoshua interrupted her:

населенных пунктов, включая все египетские города вдоль каналов. Тем не менее, даже в этом контексте стоит отметить кульминацию интервью с А.Б. Йехошуа в 2004 году: «Нежелательная война, но определенно очищающая. Война, которая даст понять палестинцам, что они суверенны». Не ошибусь ли я, если предположу, что это фашистский текст?

Стоит отметить, с какой легкостью таких людей, как А.Б. Йехошуа, продают на западном рынке как «миротворцев». В Италии, по причинам, которые мы не можем здесь обсуждать, это приняло самую гротескную форму. В то время как присутствующим на лекции А.Б. Йехошуа в Тель-Авивском университете раздавали копии интервью протестующие левые академики, сам автор получил Неаполитанскую премию мира вместе с Тариком Али из Великобритании.

1 сентября 2000 года, накануне второй интифады, голландское телевидение показало диалог между Йехошуа и палестинской писательницей и кинорежиссёром из Рамаллы Лианой Бадер. Йехошуа был представлен как «активист движения за мир, которого почти преследуют в Израиле за левые взгляды». Он говорил с возрастающим чувством превосходства по отношению к Бадер, которая жаловалась на страдания палестинцев во время Ословских соглашений. Вот как Йехошуа обращался к ней:

Сейчас я действительно зол, я действительно зол, потому что вы несправедливы. Здесь была интифада, и каждый день раненых палестинцев и израильтян тоже били; война шла постоянно. Сейчас уже три или четыре года нет террора. Всё спокойно, нет демонстраций, может быть, лишь изредка, но реже. Так что вы не можете сказать, что ситуация осталась прежней. Есть улучшения...

Бадер утверждал:

У меня нет государства, у меня нет безопасности, и вокруг меня постоянно грабят мою землю.

Йехошуа прервал ее:

Don't pretend to be more wretched than you really are. You have problems but ...

Bader tried to finish the sentence she had started, but Yehoshua continued instead:

You have your own police, you already have a kind of an army. When I come to Ramallah I see the Palestinian policemen sitting with their AK-47 guns, and so on. You have Arafat, who is received all over the world like a prime minister ...³

Four years later, after the death of Arafat, Yehoshua told Tel Aviv's *Time Out*:

Arafat was a symbol of the refugees and the right of return. He was a chaotic person, an essentially powerless leader, without a police and without a mechanism for subjugation, who ruled by virtue of his authoritativeness ... only the chaos of the eternal refugee, and he drew his entire people into this.⁴

The gap between the two interviews should not mislead us. In both cases, there is profound and consistent animosity toward Palestinian suffering; in both, there is contempt for the weak, for the victim. Luckily, Yehoshua does not write with ease. In newspapers, he prefers interviews. But in the interviews he talks a lot, eager to win over the interviewer; he enjoys pontificating with arms flailing, thereby uttering a great many interesting truths.

"Israelization"

Most symptomatic in Yehoshua's outbursts—in Israel, in Hebrew, absolutely not in Europe—is his attitude toward the Arabs within the State of Israel. The Palestinian presence in Israel bothers him, as it does many Israeli politicians. About 20 percent of the citizens of Israel within the old borders are Palestinians, who are entitled to vote for the Knesset. The harsh discrimination against them is reflected in

Не притворяйся, что ты хуже, чем есть на самом деле. У тебя есть проблемы, но...

Бадер попыталась закончить начатое ею предложение, но Йехошуа продолжил вместо нее:

У вас есть своя полиция, у вас уже есть своего рода армия. Когда я приезжаю в Рамаллу, я вижу палестинских полицейских, сидящих с автоматами АК-47 и так далее. У вас есть Арафат, которого во всем мире встречают как премьер-министра...³

Четыре года спустя, после смерти Арафата, Йехошуа рассказал об этом тель-авивским СМИ.
Перерыв:

Арафат был символом беженцев и права на возвращение. Он был человеком хаотичным, по сути бессильным лидером, без полиции и без механизма подчинения, который правил в силу своей власти... лишь хаосом вечного беженца, и он втянул весь свой народ в это.

этот.⁴

Разница во времени между двумя интервью не должна вводить нас в заблуждение. В обоих случаях присутствует глубокая и устойчивая враждебность по отношению к страданиям палестинцев; в обоих случаях – презрение к слабым, к жертвам. К счастью, Йехошуа пишет нелегко. В газетах он предпочитает интервью. Но в интервью он много говорит, стремясь расположить к себе интервьюера; он с удовольствием излагает свои мысли, размахивая руками, и тем самым выдает множество интересных истин.

«Израилизация»

Наиболее показательным в высказываниях Йехошуа — в Израиле, на иврите, и уж точно не в Европе — является его отношение к арабам внутри Государства Израиль. Присутствие палестинцев в Израиле беспокоит его, как и многих израильских политиков. Около 20 процентов граждан Израиля в пределах старых границ составляют палестинцы, имеющие право голосовать в Кнессете. Жесткая дискриминация в отношении них находит отражение в

the budgets for education, sanitation, health and welfare; the constitutional discrimination against them is expressed primarily in land legislation, including a prohibition on them owning water resources and 80 percent of the land. He does not join the fascistic calls by politicians on the right to expel the Arabs from Israel, but he is troubled by the fact that the Arabs in Israel regard themselves as belonging to the Palestinian people. Back in 1986, in a debate conducted in the newspapers, he called upon the writer Anton Shammas to pack up his belongings and leave the country, the birthplace of Shammas and his forefathers. Regarding the events of October 2000, when the police killed thirteen demonstrators in the streets and in the city squares, the author, “a member of the peace camp,” said the following to an Arab newspaper from the Galilee (in December 2001):

We, as Jews in the state, face a real problem, and it is how to work toward achieving the Israelization of the Arabs. And I believe that it is the duty of all of us, Right and Left and all the rest, to take action in order to achieve this goal, even if this happens in stages.⁵

I will skip over a great many political issues in order to reach the main point regarding Yehoshua: the wish that there should not be Arabs among us or that they should become a part of us (“Israelization”) is an element of Yehoshua’s great fear of ethnic heterogeneity. This fear is the real axis of the novel *The Liberated Bride*, the most racist Hebrew novel written in recent years. The Arabs of Israel are not Palestinians in this novel. When they act like Palestinians, they are traitors or imbeciles. The Arabs of Israel are mainly represented as serene villagers who have no interest in politics. They are pleasant natives, sometimes a bit devious, sycophantic and especially ugly. The main effort of this novel is devoted to describing the Palestinians in the West Bank as buffoons. The disparagement of Mahmoud Darwish and his poetry is remarkable, together with ridicule of the Palestinians’ longings for their olive trees, and for their tragedy. Here too we must recall that no one spoiled the European celebration of the book. Even what

Бюджеты на образование, санитарию, здравоохранение и социальное обеспечение; конституционная дискриминация в отношении них выражается прежде всего в земельном законодательстве, включая запрет на владение водными ресурсами и 80 процентами земли. Он не присоединяется к фашистским призывам политиков к праву изгнать арабов из Израиля, но его беспокоит тот факт, что арабы в Израиле считают себя принадлежащими к палестинскому народу. Еще в 1986 году, в ходе дебатов в газетах, он призвал писателя Антона Шаммаса собрать вещи и покинуть страну, родину Шаммаса и его предков. Что касается событий октября 2000 года, когда полиция убила тринадцать демонстрантов на улицах и городских площадях, автор, «член лагеря мира», сказал следующее арабской газете из Галилеи (в декабре 2001 года):

Мы, евреи в этом государстве, сталкиваемся с реальной проблемой: как работать над достижением израильтянства среди арабов? И я считаю, что долг всех нас, правых, левых и всех остальных, — действовать для достижения этой цели, даже если это...

Происходит поэтапно.⁵

Я опушу множество политических вопросов, чтобы перейти к главному моменту, касающемуся Йехошуа: желание, чтобы среди нас не было арабов или чтобы они стали частью нас («израильизация»), является элементом глубокого страха Йехошуа перед этническим многообразием. Этот страх — реальная ось романа. *Освобожденная невеста* «Это самый расистский еврейский роман, написанный за последние годы». В этом романе арабы Израиля не являются палестинцами. Когда они ведут себя как палестинцы, их называют предателями или идиотами. Арабы Израиля в основном представлены как мирные деревенские жители, не интересующиеся политикой. Это приятные туземцы, иногда немного хитрые, подхалимские и особенно уродливые. Основная часть романа посвящена изображению палестинцев на Западном берегу как шутов. Примечательно пренебрежительное отношение к Махмуду Дарвишу и его поэзии, а также высмеивание стремления палестинцев к своим оливковым деревьям и их трагедии. Здесь тоже следует помнить, что никто не испортил европейское празднование этой книги. Даже то, что

used to be the Italian Communists fell in line with European liberalism. The hatred for immigrants and for the East requires an Israeli advocate.

From Molcho to Rivlin

In my view, Yehoshua has written one good novel: *Molcho* (published in English as *Five Seasons*). He experienced a period of grace when he mourned the death of his father, with feelings of guilt about his long disavowal of his ethnic origins, and also with the “discovery of the Mizrahim [Sephardim]” in Israeli society (since the elections in 1981). The novel centers around Molcho, a Mizrahi Jew from Jerusalem, who lives in the “European” Carmel section of Haifa and whose wife, of German origin (German always has the “most European” connotation in Israeli literature), has just died. Upon the death of his Ashkenazi wife, he has lost all of his powers of discrimination between good and bad—that is, between “positive European” (classical music) and “negative Mizrahi” (noisy music)—and has been left between two worlds. He wanders around “Europe” (Haifa’s Carmel or Paris or Berlin), and Mizrahi Israel (Jerusalem) but does not feel at home. Indeed, there is much evidence in the book of the author’s loathing of Sephardism, revealed particularly through memories of his deceased wife. (For example, she forced the protagonist to bathe regularly, something he was unaccustomed to doing as a Mizrahi, of course.) *The Liberated Bride*, on the other hand, written over fifteen years later, is a bad novel. It was written when Yehoshua was already an author who was more or less well known in the West, against the background of the growing enmity toward Muslims in Europe. Here the border does not run through the hero, but rather the hero forcibly marks the border.

Yehoshua, as we know, comes from a Sephardi/Mizrahi home and was born in Jerusalem in the 1930s. One can find many connections between the “author’s self” in *Molcho* and in *The Liberated Bride*. For example, just as Molcho’s Ashkenazi wife orders her Sephardi husband to bathe regularly, Rivlin’s wife insists that her husband wash himself before she consents to sleep with him because he still smells of the Arab village they visited earlier in

Раньше итальянские коммунисты придерживались европейских либеральных взглядов. Ненависть к иммигрантам и к Востоку требует поддержки Израиля.

От Мольхо до Ривлина

На мой взгляд, Йехошуа написал один хороший роман: *Молхо* (опубликовано на английском языке как *Пять сезонов*). Он пережил период духовного подъема, когда оплакивал смерть отца, испытывая чувство вины за долгое отрицание своего этнического происхождения, а также в связи с «открытием мизрахимов [сефардов]» в израильском обществе (после выборов 1981 года). Роман повествует о Мольхо, еврее-мизрахи из Иерусалима, живущем в «европейском» районе Кармель в Хайфе, чья жена немецкого происхождения (немецкое происхождение всегда ассоциируется с «наиболее европейским» направлением в израильской литературе) только что умерла. После смерти жены-ашкенази он утратил способность различать добро и зло — то есть «позитивную европейскую» (классическая музыка) и «негативную мизрахи» (шумная музыка) — и оказался между двумя мирами. Он скитается по «Европе» (Гайфский Кармель, Париж или Берлин) и мизрахи-Израилю (Иерусалим), но не чувствует себя дома. Действительно, в книге содержится множество свидетельств ненависти автора к сефарду, особенно ярко проявляющихся в воспоминаниях о его покойной жене. (Например, она заставляла главного героя регулярно мыться, чего он, будучи мизрахи, делать было непривычно.) *Освобожденная невеста* С другой стороны, написанный более чем пятнадцать лет спустя роман «Иошуа» — плохой роман. Он был написан, когда Иошуа уже был более или менее известным автором на Западе, на фоне растущей враждебности к мусульманам в Европе. Здесь граница проходит не через героя, а герой силой обозначает эту границу.

Как известно, Иешуа происходит из сефардско-мизрахитской семьи и родился в Иерусалиме в 1930-х годах. Можно обнаружить множество связей между «личностью автора» и... *Молхо* и *Освобожденная невеста* Например, подобно тому как жена-ашкенази у Мольхо приказывает своему мужу-сефарду регулярно мыться, жена Ривлина настаивает на том, чтобы ее муж мылся, прежде чем она согласится спать с ним, потому что от него все еще пахнет арабской деревней, которую они посетили ранее.

the evening. In the racist novel, the narrating subject pretends to be a complete Ashkenazi—that is, a European. Indeed, going to a concert is part of a regular cultural menu. But the primary Freudian slip can be found, of course, in the name of the hero in both of the novels. Molcho is a typical Sephardic Jerusalemite family name dating from pre-Zionist Palestine, like the name Mani (the title of another of Yehoshua's novels). Both of the names, like both of the protagonists, belong to the world of symbols through which Yehoshua sought to contend with his Sephardic past.

On the other hand, Rivlin, the hero of *The Liberated Bride*, is the most familiar name of the Ashkenazim from the pre-Zionist Jerusalem community.⁶ There are very few quintessentially Ashkenazi Jerusalemite names from the century that preceded Zionism, and Rivlin, the name of one of the largest and more well-known families in politics, culture and business, is one. In short, the autobiographical hero has traveled the entire route from “the confession of weakness” of a Mizrahi Jew through to his transformation into the opposite: a learned expert on Middle Eastern affairs, married to a judge and primarily “culturally minded.” Yehoshua was unable to choose caution and a less transparent name that would have hidden somewhat his desire to resemble the Ashkenazi neighbor from the next street in Jerusalem. As in the interviews, here too Yehoshua forgot himself, in this case because of a violent desire in this case to wipe out the past, to transform Molcho the Sephardi into Rivlin the Ashkenazi.

When engaging with A. B. Yehoshua's literature, and particularly when considering the way in which he tries to contend with his Mizrahi origin, it is important to note the place where Yehoshua builds the “we.” His “I” can only define itself in relation to an “us.” But “we,” of course, requires a “they” in order to become an “us,” in order to become an “I.” Yehoshua does not succeed in finding for himself the collective that contains “I” other than an “Israeliness” that eliminates all traces of his foreignness. Here is what Yehoshua wrote in the late 1980s about his childhood in Jerusalem on the eve of the establishment of the state, a childhood that included friends from the Scouts movement (Ashkenazim) and studies at the Gymnasia

Вечером. В расистском романе главный герой притворяется настоящим ашкенази — то есть европейцем. Действительно, посещение концерта является частью обычной культурной программы. Но основная фрейдистская оговорка, конечно же, кроется в имени героя в обоих романах. Мольхо — типичная сефардская иерусалимская фамилия, восходящая к дсионистской Палестине, как и имя Мани (название другого романа Йехошуа). Оба имени, как и оба главных героя, принадлежат к миру символов, посредством которых Йехошуа пытался осмыслить своё сефардское прошлое.

С другой стороны, Ривлин, герой *Освобожденная невеста* Это наиболее известное имя ашкенази из дсионистской эпохи.

Иерусалимская община.⁶ В иерусалимском столетии, предшествовавшем сионизму, сохранилось очень мало типично ашкеназских фамилий, и Ривлин, фамилия одной из крупнейших и наиболее известных семей в политике, культуре и бизнесе, — одна из них. Короче говоря, автобиографический герой прошёл весь путь от «признания слабости» еврея-мизрахи до своего превращения в полную противоположность: учёного эксперта по ближневосточным делам, женатого на судье и в первую очередь «культурно ориентированного». Йехошуа не смог выбрать осторожность и менее броскую фамилию, которая несколько скрывала бы его желание быть похожим на соседа-ашкенази с соседней улицы в Иерусалиме. Как и в интервью, здесь Йехошуа тоже забыл о себе, в данном случае из-за сильного желания стереть прошлое, превратить Молхо-сефарда в Ривлина-ашкенази.

При изучении литературы А. Б. Йехошуа, и особенно при рассмотрении того, как он пытается осмыслить своё мизрахитское происхождение, важно отметить место, где Йехошуа формирует «мы». Его «я» может определять себя только по отношению к «нам». Но «мы», конечно, нуждаются в «они», чтобы стать «нами», чтобы стать «я». Йехошуа не удаётся найти для себя коллектив, содержащий «я», кроме «израильскости», которая стирает все следы его чуждости. Вот что Йехошуа писал в конце 1980-х годов о своём детстве в Иерусалиме накануне создания государства, о детстве, которое включало в себя друзей из скаутского движения (ашкенази) и учёбу в гимназиях.

Rehavia high school (Ashkenazi), as well as his place of origin—a place he had to reject when he wanted to become an Israeli:

The old Sephardim, the family elders and so on, were only part of my experience and not a part that elicited much identification. Other heroes emerged during the years of preparation for establishing the state, and I watched for many hours from the window of my home on King George Street [Jerusalem's main street] as they walked by the Talor cinema and Histadrut building ... They were not connected to my grandfather, who strolled in his black robe and tarbush along the streets of Jerusalem. When occasionally encountering him on the street while walking with my friend from the Hebrew Gymnasium, I would feel somewhat confused and embarrassed.⁷

Here one can see how well he knows that there is no definition for Israeliness that does not include the Ashkenazi and the non-Ashkenazi. Israeliness does not neutralize the citizen's "previous" ethnic origin, but takes the previous origin as a starting point.

In the same article, Yehoshua outlines his Zionist fantasy:

I did not want to be Ashkenazi, but rather Israeli. And this was a good, moral and correct ideological objective from all perspectives. But—to be completely honest with myself—this also included a type of comfort, particularly in distinguishing myself from the waves of immigration of Jews from Arab countries who arrived in the early 1950s with all of their problems.⁸

Nearly fifteen years after writing this article, in an interview in March 2004, without changing the wording very much, Yehoshua tried to update his formulation regarding the unhealed wound of his "shameful" Sephardic origin. Responding to the interviewer's questions, he complained of discrimination:

Средняя школа Рехавия (ашкеназская), а также место его происхождения — место, от которого ему пришлось отказаться, когда он захотел стать израильтянином:

Старые сефарды, старейшины семей и так далее, были лишь частью моего опыта, и эта часть не вызывала у меня особого сопереживания. Другие герои появились в годы подготовки к созданию государства, и я много часов наблюдал из окна своего дома на улице короля Георга [главной улице Иерусалима], как они проходили мимо кинотеатра «Талор» и здания «Гистадрута»... Они не были связаны с моим дедом, который прогуливался по улицам Иерусалима в своей черной одежде и тарбуше. Когда я изредка встречал его на улице, гуляя с другом из Еврейской гимназии, я чувствовал себя несколько растерянным и смущенным.⁷

Здесь видно, насколько хорошо он понимает, что не существует определения израильскости, которое не включало бы как ашкенази, так и неашкенази. Израильскость не нейтрализует «предыдущее» этническое происхождение гражданина, а берет это предыдущее происхождение за отправную точку.

В той же статье Йехошуа излагает свою сионистскую фантазию:

Я не хотел быть ашкенази, а хотел быть израильтянином. И это была хорошая, моральная и правильная идеологическая цель со всех сторон. Но — если быть совершенно честным с самим собой — это также включало в себя своего рода комфорт, особенно в том, чтобы отличаться от волн иммиграции евреев из арабских стран, которые прибыли в начале 1950-х годов со всеми своими... проблемами.⁸

Спустя почти пятнадцать лет после написания этой статьи, в интервью в марте 2004 года, практически не изменив формулировки, Йехошуа попытался обновить свою формулировку относительно незажившей раны своего «позорного» сефардского происхождения. Отвечая на вопросы интервьюера, он пожаловался на дискриминацию:

No one ever came to S. Yizhar [the doyen of Israeli writers] with questions about his family's Russian past. What I'm saying is that there is a tacit assumption here that if you come from a weak minority you are not supposed to leave it. You mustn't betray it. Well, I don't accept that. I simply don't accept it. Ever since I can remember, my desire was entirely turned towards the Israeli way of life.⁹

With regard to this source of suffering, Yehoshua insists on writing again and again a fantasy of a neutral Israeliness, devoid of roots. Only within the Israeli fantasy will he no longer be ashamed of the origins that trouble him. It is not a simple matter for an author to bear the memory of his Moroccan mother, the memory of his Arabic-speaking father and grandfather, with their distinct Mizrahi accent, and still to hate the Mizrah (the East). On the other hand, not everyone translates this enmity into literary form, and not every author turns the pain into racist hatred, while identifying with the state and, beyond it, with the "superiority of the West." But Yehoshua does. His entire intellectual path is characterized by a rejection of the wedge that divides East and West within the Jewish people.

We should cite this painful point, which portrays "the Israeli experience" as the place where everyone strips off his/her "previous" identity and dons a "new identity," as the point of departure of "The Sorrows of Yehoshua." This Yehoshua—who takes pains to emphasize here that "I did not think that I have some sort of special mission and special responsibility in regard to my group of ethnic origin"—definitely believes that he has a "special mission and special responsibility" with regard to the group to which he is seeking to appeal. All of his public appearances are imbued with a sense of mission pertaining to the target group—that is, "Israeli identity"—which is nothing more than Ashkenazism that covers up the "embarrassing" past. Note the "proof" of the new experience, which is ostensibly neither Mizrahi nor Ashkenazi:

My sister and I do not have a Mizrahi accent. My father and mother had a Mizrahi accent. If you think about it, this is quite an amazing thing: A one-year-old child realizes that he should

Никто никогда не обращался к С. Ицхару [выдающемуся израильскому писателю] с вопросами о русском прошлом его семьи. Я имею в виду, что здесь негласно предполагается, что если ты принадлежишь к слабому меньшинству, то тебе нельзя его покидать. Нельзя его предавать. Что ж, я с этим не согласен. Просто не согласен. Сколько себя помню, моё желание было исключительно обратились к израильскому образу жизни.⁹

Что касается этого источника страданий, Йехошуа настаивает на том, чтобы снова и снова писать фантазию о нейтральной израильскости, лишенной корней. Только в рамках этой израильской фантазии он перестанет стыдиться своего происхождения, которое его тревожит. Непросто для автора нести память о своей марокканской матери, память о своем арабоязычном отце и деде с их характерным мизрахитским акцентом и при этом ненавидеть Мизру (Восток). С другой стороны, не каждый переводит эту вражду в литературную форму, и не каждый автор превращает боль в расистскую ненависть, отождествляя себя с государством и, за его пределами, с «превосходством Запада». Но Йехошуа делает это. Весь его интеллектуальный путь характеризуется неприятием клина, разделяющего Восток и Запад внутри еврейского народа.

В качестве отправной точки «Скорбей Йехошуа» следует привести этот болезненный момент, изображающий «израильский опыт» как место, где каждый сбрасывает свою «прежнюю» идентичность и облекается в «новую». Этот Йехошуа, который здесь всячески подчеркивает, что «я не думал, что у меня есть какая-то особая миссия и особая ответственность в отношении моей этнической группы», определенно считает, что у него есть «особая миссия и особая ответственность» в отношении группы, к которой он стремится обратиться. Все его публичные выступления пронизаны чувством миссии, относящейся к целевой группе — то есть к «израильской идентичности», — которая является не чем иным, как ашкеназизмом, скрывающим «позорное» прошлое. Обратите внимание на «доказательство» нового опыта, который, по-видимому, не является ни мизрахитским, ни ашкеназским:

У меня и моей сестры нет мизрахского акцента. А вот у моих отца и матери был мизрахский акцент. Если задуматься, это довольно удивительно: годовалый ребенок понимает, что ему следует

adopt the general Israeli accent and not the specific Mizrahi accent. That the source of his identity will not be the family and home; instead, the source of identity will be the majority, the friend, the school. This is at the most preliminary stage of all. It is as if the home itself says: Don't behave as you would at home. Be like the teachers. Be like the children in the kindergarten. Don't be like father and mother.¹⁰

The "general Israeli" accent is first of all an Ashkenazi accent or, better, a non-Mizrahi accent. A large part of "Israeliness" uses Mizrahism as a negative definition, as material for jokes and entertainment, just as in many countries where the folklore of the margins, of the groups that are distant from the center, is mobilized. Yehoshua's denial of or embarrassment at his ethnic origin through the representation of "a general accent" also certainly appears in many cultures. In every culture that has a linguistic and cultural hierarchy, it is embarrassing to belong to the lower rungs. However, the transition in Israel from "Oriental" to "general" is a transition from life in the Middle East to the Western fantasy of Israeliness. This is the swamp in which Yehoshua's self-hatred developed. It is not detached for even a moment from the ideological developments around it. Yehoshua, of course, is not the only person who finds in the Zionist enterprise a Western refuge from Mizrahi origin, nor is he the only person who finds in hatred of Arabs the chance to "forget" the ethnic barrier between the Jews. Anyone seeking to explain the Likud phenomenon of anti-Arab Mizrahim can plumb this particular swamp.

However, unlike so many others, Yehoshua made himself into the trumpeter of the denial process. Even in the previous quotation—which almost reflects some understanding of spoken language (for what is an "accent" other than spoken language?) versus the language of literature—he brandishes the "modernity" of his existence for as far back as he can remember. He refuses to understand what underlies denial of the accent learned at his mother's bosom, that of her lullabies. He fails to see the manner in which children, in general, are exiled from the speech of their parents, whether with the help of their parents or despite their

Он должен перенять общий израильский акцент, а не специфический мизрахитский. Источником его идентичности будет не семья и дом, а большинство, друзья, школа. Это находится на самом предварительном этапе. Как будто сам дом говорит: «Не веди себя так, как дома. Будь как учителя. Будь как дети в школе».

Детский сад. Не будьте похожи на отца и мать.¹⁰

«Общий израильский» акцент — это прежде всего ашкеназский акцент или, точнее, немизрахитский акцент. Значительная часть «израильскости» использует мизрахизм как негативное определение, как материал для шуток и развлечений, подобно тому, как это происходит во многих странах, где мобилизуется фольклор маргинальных групп, групп, далеких от центра. Отрицание или смущение Йехошуа по поводу своего этнического происхождения посредством представления об «общем акценте» безусловно встречается и во многих культурах. В любой культуре, где существует языковая и культурная иерархия, принадлежность к низшим ступеням считается неловкой. Однако переход в Израиле от «восточного» к «общему» акценту — это переход от жизни на Ближнем Востоке к западной фантазии об израильскости. Это болото, в котором развилась ненависть Йехошуа к самому себе. Она ни на мгновение не оторвана от идеологических событий, окружающих её. Йехошуа, конечно, не единственный, кто находит в сионистском движении западное убежище, скрывающееся за мизрахитским происхождением, и не единственный, кто видит в ненависти к арабам возможность «забыть» этнический барьер между евреями. Любой, кто пытается объяснить феномен антиарабских настроений мизрахитов в Ликуде, может исследовать это болото.

Однако, в отличие от многих других, Иешуа сделал себя трубачом процесса отрицания. Даже в предыдущей цитате, которая почти отражает некоторое понимание разговорной речи (ибо что такое «акцент», кроме разговорной речи?) в сравнении с языком литературы, он размахивает «современностью» своего существования с тех пор, как себя помнит. Он отказывается понять, что лежит в основе отрицания акцента, усвоенного на груди матери, акцента ее колыбельных. Он не видит, как дети, в целом, оказываются отлучены от речи своих родителей, будь то с помощью родителей или вопреки им.

parents, and are led by the state and education system to believe that high culture, that of the university, let's say, or that of the dazzling theater lights, is the real culture, as opposed to the culture of the child's everyday surroundings. He chooses not to grasp what happens to someone who finds refuge very far from his father's home and opts for another symbolic father who is different from him, such as the state, or the Ashkenazi. Instead of all this, Yehoshua aggressively and bitterly repels any criticism. I preach Zionism, Yehoshua says in essence, on behalf of the general interest, while you all ask me about the interests of the minority. But he hates minorities because he does not want to number among them. Fifteen years before he addressed the lost accent of his mother in an interview in *Haaretz*, Yehoshua explained these things, this exile, in a more resolute way:

During our childhood and adolescence, the heroes [my father] presented to us were not actually the Sephardi rabbi or notables of the [Sephardi] community, but rather the top Jewish officials in the government offices of the British Mandate where he worked, scholars of the Hebrew University, where he completed his high school studies when he was in his early twenties. Those were his real favorites and he would speak excitedly about them.¹¹

That is, his father had already undergone this colonial experience: to be a child from old Jerusalem, to grow up among Arabs and Mizrahi Jews, and to regard the Ashkenazim who arrived from Europe as the model.

This is not only Yehoshua's trauma. This is the trauma of so many Mizrahi Jews in Israel: their denial of their ethnic origins always entails a distinction between East and West within Israeli life. In order to cope with the trauma, and in complete identification with the ideological directives of the state, Yehoshua identifies himself with the West:

I think the process was correct. It was correct to repress, it was correct to pour a new concrete floor of a new identity. I

Родители, под влиянием государства и системы образования, считают, что высокая культура, скажем, университетская или ослепительная театральная, является подлинной культурой, в отличие от культуры повседневного окружения ребенка. Он предпочитает не понимать, что происходит с тем, кто находит убежище очень далеко от дома своего отца, и выбирает другого символического отца, отличного от него, например, государство или ашкенази. Вместо всего этого Йехошуа агрессивно и резко отвергает любую критику. «Я проповедую сионизм, — говорит Йехошуа, по сути, — от имени всех, в то время как вы все спрашиваете меня об интересах меньшинства». Но он ненавидит меньшинства, потому что не хочет быть в их числе. Пятнадцать лет назад он затронул тему утраченного акцента своей матери в интервью в *Хаарец*. Иешуа объяснил эти вещи, это изгнание, более решительно:

В детстве и юности [мой отец] представлял нам в качестве героев не сефардских раввинов или видных деятелей сефардской общины, а высокопоставленных еврейских чиновников в правительственных учреждениях британского мандата, где он работал, и ученых Еврейского университета, где он закончил среднюю школу в начале двадцатых годов. Это были его настоящие любимцы, и он их очень любил.

Расскажите о них с восторгом.¹¹

То есть его отец уже пережил этот колониальный опыт: быть ребенком из старого Иерусалима, расти среди арабов и евреев-мизрахи и считать ашкенази, прибывших из Европы, образцом для подражания.

Это травма не только Йехошуа. Это травма многих евреев-мизрахи в Израиле: их отрицание своего этнического происхождения всегда влечет за собой различие между Востоком и Западом в израильской жизни. Чтобы справиться с травмой и полностью отождествляя себя с идеологическими директивами государства, Йехошуа отождествляет себя с Западом:

Я думаю, что процесс был правильным. Было правильно подавить, было правильно заложить новый бетонный пол новой идентичности.

think the Mizrahim who undertook this process benefited from it. It was healthy for them and healthy for the culture. Look at [Mizrahi politicians] Nissim Zvili, Amir Peretz, [Mizrahi writer] Eli Amir. On the other hand, the Mizrahim who were unable to repress remained with the bitterness of [the religious party] Shas. They were left with no alternative other than to return to the influence of religion.¹²

Was it really “correct to repress?” Is Amir Peretz proof of non-repression? Is the writer Eli Amir the proof of the correctness of this path? Is A. B. Yehoshu himself proof? Why should one repress anything at all? Would it not have been possible to migrate to Israel and preserve one’s identity, like the Jewish immigrant from Galicia? Apparently not, for it is not the same immigration: the immigration of Yehoshua and of the Mizrahim in Israel includes the shame of being Oriental. Yehoshua is not only at issue here, but rather the masses of Mizrahim who have always been placed in the same impossible position. Our subject here is, ultimately, the hatred toward Arabs that appears among the Mizrahim in Israel. It is different from the Western scorn; it takes upon itself the obligation of proving this hatred. (Moreover, can a writer repress without paying a price in brutality, not only in brutality toward himself, but also in the brutality cited extensively at the beginning of this chapter?)

Is the “Israeli” experience both non-Mizrahi and non-Ashkenazi? Not at all. There is no clearer way that the erroneousness of this idea is manifested than in the opposition that Yehoshua himself builds here between, on the one hand, modernity—that is, identification with the Ashkenazi model—and, on the other hand, Shas. Other possibilities, such as the Black Panthers or the Mizrahi Democratic Rainbow—that is, the political expression of Israeli Mizrahism, the possibility of facing up politically to the Mizrahi situation—do not even occur to him.

The Liberated Bride by Yehoshua and *A Tale of Love and Darkness* by Amos Oz were published at about the same time. Oz wrote an autobiography that was, of course, also a biography of the Jewish people in Israel and of Zionism: he became the people and the people became him. The book stirred up great excitement in

Думаю, что мизрахи, которые участвовали в этом процессе, извлекли из него пользу. Это было полезно для них и для культуры. Посмотрите на [политиков-мизрахи] Ниссима Звили, Амира Переца, [писателя-мизрахи] Эли Амира. С другой стороны, мизрахи, которые не смогли подавить протесты, остались с горечью [религиозной партии] ШАС. У них не осталось иного выбора, кроме как вернуться к [религиозной партии].
влияние религии.¹²

Действительно ли «правильно подавлять»? Является ли Амир Перец доказательством ненасилия? Является ли писатель Эли Амир доказательством правильности этого пути? Является ли сам А. Б. Йехошу доказательством? Зачем вообще что-либо подавлять? Разве нельзя было бы эмигрировать в Израиль и сохранить свою идентичность, как еврейский иммигрант из Галиции? По-видимому, нет, поскольку это не одна и та же иммиграция: иммиграция Йехошуа и мизрахимов в Израиль включает в себя позор быть восточным. Здесь речь идет не только о Йехошуа, но и о массах мизрахимов, которые всегда оказывались в одном и том же безвыходном положении. В конечном счете, наша тема здесь – ненависть к арабам, которая проявляется среди мизрахимов в Израиле. Она отличается от западного презрения; она берет на себя обязанность доказать эту ненависть. (Более того, может ли писатель подавлять, не заплатив за это жестокостью, не только жестокостью по отношению к себе, но и жестокостью, подробно описанной в начале этой главы?)

Можно ли считать «израильский» опыт одновременно не-мизрахитским и не-ашкеназским? Вовсе нет. Нет более наглядного примера ошибочности этой идеи, чем противопоставление, которое сам Йехошуа здесь выстраивает между, с одной стороны, современностью — то есть, идентификацией с ашкеназской моделью — и, с другой стороны, ШАС. Другие возможности, такие как «Чёрные пантеры» или «Мизраитская демократическая радуга» — то есть политическое выражение израильского мизрахизма, возможность политического противостояния ситуации с мизрахитами — ему даже не приходят в голову.

Освобожденная невеста Йешуа и *История любви и тьмы* Книги Амоса Оза были опубликованы примерно в одно и то же время. Оз написал автобиографию, которая, конечно же, также являлась биографией еврейского народа в Израиле и сионизма: он стал этим народом, а народ стал им. Книга вызвала большой ажиотаж.

Israel. Everyone could identify themselves there—their attitudes, or the attitude of the Yishuv (the pre-1948 Jewish residents) toward the Holocaust, their attitudes toward Agnon and Germany—all within the narcissistic framework of the *imaginaire*. But Yehoshua is not capable of writing such an autobiography, precisely for the reasons described here. His autobiography pits him against the Israeli “collective self” whose ethnic origin is always, in every story, to be found in Eastern Europe. The autobiography places Amos Oz within the “collective self.” Does Yehoshua develop a different poetic art because of this inability? Is he ready to write something that does not invite narcissistic identification with “the writer who is the people”? He cannot do this, except by exchanging the Mizrahi Molcho with the Middle East expert Rivlin, and of course with belligerence toward the Arab minority.

To Be a Mizrahi in Israel

At the beginning, the division between Mizrahim and Ashkenazim in Israel was not even a cultural divide; at the beginning, it was not a divide of wealth and poverty (though the Mizrahim became a majority among the impoverished Jews in Israel, as well as among the prison population and the Jewish proletariat in Israel); it was not a division of skin color or of biology (despite references to “blacks”). The division between Mizrahim and Ashkenazim was not a divide over anything “natural” or “cultural.” Prior to anything else, it was a political division—that is, a division instituted by the state. It is impossible to think of this division prior to the creation of the Jewish state, or before the manifestation of Zionism in the heart of the Middle East. Despite the fact that there were Sephardi and Ashkenazi Jews in the country before Zionism—in Jerusalem, in Tiberias, in Hebron—there was no nationalist or cultural dimension to the relations between them, no links of “a shared past,” or of “a common language.” At most, there were religious connections between them. And this aspect was also problematic from the outset.

In the long process of establishing the state, from the start of Zionist settlement in Palestine and with greater intensity after the official birth of the state in 1948, the category of the “Mizrahi” was

Израиль. Каждый мог идентифицировать себя там — свои взгляды, или взгляды ишува (еврейского населения до 1948 года) на Холокост, свои взгляды на Агнон и Германию — всё в рамках нарциссической структуры. *воображаемый* Но Йехошуа не способен написать такую автобиографию именно по причинам, описанным здесь. Его автобиография противопоставляет его израильскому «коллективному я», этническое происхождение которого в каждом рассказе всегда связано с Восточной Европой. Автобиография помещает Амоса Оза в контекст этого «коллективного я». Развивает ли Йехошуа иное поэтическое искусство из-за этой неспособности? Готов ли он написать что-то, что не предполагает нарциссической идентификации с «писателем, который есть народ»? Он не может этого сделать, за исключением обмена мнениями с мизрахи-молхо с экспертом по Ближнему Востоку Ривлином, и, конечно же, с воинственностью по отношению к арабскому меньшинству.

Быть мизрахи в Израиле

Вначале разделение между мизрахимами и ашкенази в Израиле даже не было культурным; вначале это не было разделением по богатству и бедности (хотя мизрахимы стали большинством среди обедневших евреев в Израиле, а также среди заключенных и еврейского пролетариата в Израиле); это не было разделением по цвету кожи или биологическому признаку (несмотря на упоминания «черных»). Разделение между мизрахимами и ашкенази не было разделением по какому-либо «естественному» или «культурному» признаку. Прежде всего, это было политическое разделение — то есть разделение, установленное государством. Невозможно представить это разделение до создания еврейского государства или до проявления сионизма в самом сердце Ближнего Востока. Несмотря на то, что в стране до сионизма существовали сефардские и ашкеназские евреи — в Иерусалиме, в Тверии, в Хевроне — в отношениях между ними не было националистического или культурного измерения, не было связей «общего прошлого» или «общего языка». В лучшем случае между ними существовали религиозные связи. И этот аспект также с самого начала создавал проблемы.

В длительном процессе создания государства, начиная с сионистского заселения Палестины и с большей интенсивностью после официального образования государства в 1948 году, категория «мизрахи» была

created.¹³ There is nothing “natural” or “cultural” that connects the Jews of Yemen with the Jews of Egypt, or Libyan Jewry with Iranian Jewry, or the Jews of Kurdistan with the Jews of North Africa—except for the connection the state created between them as Jews from Arab or Muslim lands living in a state defined as Jewish (that is, in struggle against the Arabs or the East [*Mizrah*]). Those defined as Mizrahim in the new collective (and this was recorded for years in the state’s official statistics under the rubric of country of origin and in statistical summaries of “immigrants from Asia and Africa”) were, until they arrived and until becoming “Mizrahim,” part of Arab or Muslim society and/or a religious minority within Muslim society, but definitely not “Mizrahim.” They only became “Mizrahim” after the creation of the Jewish political entity, which defined them within an older colonial discourse—that is, in line with the prevailing division in the Western world: East (Islam) versus West (and Christianity).

Let me state this more clearly. From the moment the state and/or Zionism placed the challenge of nationalism before all of the Jews, to change from a religion into a nation, the Jews who came from the lands of Asia and Africa were compelled—whether they were forced or tempted to come, whether they did so willingly or for lack of any other alternative, and even when they were motivated by messianic fervor—to undergo a double migration. One migration was to become “Mizrahim”—that is, to receive the common denomination of “non-Ashkenazi”—Persians and Moroccans, Kurds and Egyptians. The second migration was immediately, in the same process, to alienate themselves from their “shared origins” (Jews from Arab lands, or from the lands of Islam) and be part of “Israeliness”—that is, to receive a new identity that was constructed around a hegemonic Ashkenazi standard. When Yehoshua complains, “After all, if you are Polish, no one demands that you remain loyal to Polishness. No one came to Yizhar with questions about the Russian past of his family,” he arrives at the right place. But, as is the tendency with deniers, he immediately flees. The “Israeliness” Yehoshua speaks of with such enthusiasm is not a new site, unconnected to the past or place of origin. It is a great illusion. This is what he says in an interview with *Haaretz*:

созданный.¹³ Нет ничего «естественного» или «культурного», что связывало бы евреев Йемена с евреями Египта, или ливийских евреев с иранскими, или евреев Курдистана с евреями Северной Африки, кроме связи, созданной государством между ними как между евреями из арабских или мусульманских стран, живущими в государстве, определяемом как еврейское (то есть, в борьбе против арабов или Востока). *Мизра* Те, кто в новом коллективе был определен как мизрахимы (и это годами фиксировалось в официальной государственной статистике в рубрике «страна происхождения» и в статистических сводках «иммигрантов из Азии и Африки»), до прибытия и до того, как они стали «мизрахимами», были частью арабского или мусульманского общества и/или религиозным меньшинством в мусульманском обществе, но определенно не «мизрахимами». Они стали «мизрахимами» только после создания еврейского политического образования, которое определило их в рамках старого колониального дискурса — то есть в соответствии с преобладающим в западном мире разделением: Восток (ислам) против Запада (и христианства).

Позвольте мне изложить это яснее. С того момента, как государство и/или сионизм поставили перед всеми евреями задачу национализма, необходимость перехода от религии к нации, евреи, прибывшие из земель Азии и Африки, были вынуждены — будь то по принуждению или по искушению, добровольно или за неимением иного выбора, и даже если ими двигал мессианский пыл — совершить двойную миграцию. Первая миграция заключалась в том, чтобы стать «мизрахимами» — то есть принять общее обозначение «неашкенази» — персы и марокканцы, курды и египтяне. Вторая миграция заключалась сразу же, в том же процессе, в отчуждении от своих «общих истоков» (евреи из арабских земель или из земель ислама) и в том, чтобы стать частью «израильскости» — то есть, принять новую идентичность, построенную вокруг гегемонистского стандарта. Когда Йехошуа жалуется: «В конце концов, если ты поляк, никто не требует от тебя верности польской идентичности. Никто не приходил к Ицхару с вопросами о русском прошлом его семьи», он попадает в нужное место. Но, как это часто бывает с отрицателями, он тут же убегает. «Израильскость», о которой Йехошуа говорит с таким энтузиазмом, — это не новое явление, не связанное с прошлым или местом происхождения. Это большая иллюзия. Об этом он говорит в интервью. *Хаарец*:

When grandfather walked along the street, it was strange. I had to explain it. Understand, I was a minority. And as a minority, I had to make sure that they would not categorize me. This became particularly acute in the 1950s, when the mass immigration arrived, when all of those new Mizrahim came. There was a real threat then that I would be swept into the Moroccan wave.¹⁴

It is true that some of the Ashkenazim, particular the religious ones, experienced a violent migration, including “modernization,” and were compelled in the worst case to become a new Jew. But, as we have noted, in contrast to the Ashkenazim the Jews from the Arab and Muslim countries underwent two migrations: one in their redefinition as “Mizrahim,” unequal “foreigners in the new culture,” and the second in at the same time being forced to tragically renounce their non-Ashkenazi identity in favor of “Israeliness.” Yehoshua shattered this illusion in *Molcho* in a very poetic way. But since *Molcho*, he has been selling the illusion with a growing measure of arrogance, particularly after discovering how thirsty the Europeans are for this type of panegyric for modernization and reproach toward the East.

Yehoshua’s case provides us with a good perspective for thinking about Israel. It is impossible to think about the State of Israel without thinking about the border between East and West, which all of the Mizrahim experience within themselves, in the everyday interpellation by the hegemonic powers (the education system, the radio, the television): “Don’t be from the East!” This gaping wound is expressed in the Mizrahi complaints about discrimination, in “subversive folklore,” in anti-Ashkenazi curses of the worst type (“Why didn’t they kill you all in Auschwitz?” was particularly popular at one point), in thousands of cultural decisions such as “returning to tradition,” especially among the common folk, in maintaining a “Mizrahi accent,” in Jerusalem, in the towns populated by North African Jewry (where the third generation of immigrants still preserve a certain Moroccan accent). But this wound—the State of Israel—defines the Mizrahi majority as a minority precisely in the way that Yehoshua explains so well in an interview that seeks to justify the “positive repression”: the Mizrahim always have to “meet the

Когда дедушка шел по улице, это было странно. Мне приходилось объяснять ему. Поймите, я был в меньшинстве. И как представитель меньшинства, я должен был убедиться, что меня не будут классифицировать. Это стало особенно остро в 1950-х годах, когда началась массовая иммиграция, когда приехали все эти новые мизрахи. Тогда существовала реальная угроза того, что меня захлестнет волна миграции.

Марокканская волна.¹⁴

Действительно, некоторые ашкенази, особенно религиозные, пережили насильственную миграцию, включая «модернизацию», и в худшем случае были вынуждены стать новыми евреями. Но, как мы уже отмечали, в отличие от ашкенази, евреи из арабских и мусульманских стран пережили две миграции: первая – переосмысление себя как «мизрахимов», неравноправных «иностранцев в новой культуре», и вторая – одновременное трагическое отречение от своей неашкеназской идентичности в пользу «израильскости». Йехошуа разрушил эту иллюзию в *Молхо* в очень поэтичной манере. Но поскольку *Молхо* продает эту иллюзию с возрастающей долей высокомерия, особенно после того, как обнаружил, насколько европейцы жаждут подобной хвалебной речи в адрес модернизации и упрека в адрес Востока.

Случай Йехошуа дает нам хорошую перспективу для размышлений об Израиле. Невозможно думать о Государстве Израиль, не задумываясь о границе между Востоком и Западом, которую все мизрахи ощущают внутри себя, в повседневных обращениях гегемонистских сил (система образования, радио, телевидение): «Не будьте с Востока!» Эта зияющая рана выражается в жалобах мизрахи на дискриминацию, в «подрывном фольклоре», в самых худших антиашкеназских проклятиях («Почему вас всех не убили в Освенциме?» было особенно популярно в какой-то момент), в тысячах культурных решений, таких как «возвращение к традициям», особенно среди простого народа, в сохранении «мизрахиского акцента» в Иерусалиме, в городах, населенных североафриканскими евреями (где третье поколение иммигрантов до сих пор сохраняет определенный марокканский акцент). Но эта рана — Государство Израиль определяет большинство мизрахи как меньшинство именно так, как это так хорошо объясняет Йехошуа в интервью, которое пытается оправдать «позитивные репрессии»: мизрахи всегда должны «встречаться с

standard”—“modernity,” manners, classical music, volunteering for a combat unit in the army, excellence in studies, or, in Yehoshua’s simple language, “to be like Amir Peretz.”

The Likud party, like other political parties fed by hatred, learned how to offer the masses of Mizrahim a clearer border than the Zionist Left offered: The border between the East and the West runs between the Jews and the Arabs clear and simple, according to Likud. It is true that the Zionist Left acted in precisely the same way, as with the settlement of thousands of immigrants from Arab lands after 1948 in neighborhoods and villages that had just been emptied of their Palestinian owners and were located adjacent to the next lines of confrontation. However, Likud was not implicated in the “Mizrahization” of the immigrants—that is, their designation as Mizrahim; after all, the Zionist Left had been responsible for bringing them in, for “modernizing,” Westernizing them. Likud offered them the possibility of “fleeing from Mizrahism” and becoming Israelis by hating Arabs. The Zionist Left was “the state” in this structure, the painful cleavage between East and West. The Likud, in this structure, is “the people of Israel” or “the new state” it will establish one day, after it gets rid of the Arabs, or the “elites,” or the Left, or all of them. This is the messianic message Likud sold to its miserable voters, together with the destruction of the welfare state. Whoever fails to understand the failure of the attempt by the Zionist Left (Peace Now, for example) to dig a political ditch between the settlers and the Mizrahim does not understand the extent to which colonization in the occupied territories (that is, the escalation of the conflict) expedited the formation of the new “people of Israel” in which Mizrahism serves as a type of extreme patriotism. As the conflict with the Palestinians intensifies to the point of no return, the Arab East moves further eastward, and the Jews, all of them, can find themselves in the West in the end. This is exactly what happens in Yehoshua’s novel *The Liberated Bride*, a song of praise for the separation wall.

After he wrote *Molcho* and confessed his weakness for a moment, Yehoshua made every effort to shift the border running within the non-Ashkenazi Israeli, his Molcho, to other places so that the Mizrahi Jews in his imaginary world would be “Western.” *Mr.*

стандарт» — «современность», манеры, классическая музыка, добровольцы в боевое подразделение армии, отличные успехи в учебе или, говоря простым языком Йехошуа, «быть похожим на Амира Переца».

Партия «Ликуд», как и другие политические партии, подпитываемые ненавистью, научилась предлагать массам мизрахим более четкую границу, чем та, которую предлагали сионистские левые: граница между Востоком и Западом проходит между евреями и арабами ясно и просто, по мнению «Ликуда». Правда, сионистские левые действовали точно так же, как и в случае с расселением тысяч иммигрантов из арабских стран после 1948 года в кварталах и деревнях, которые только что были освобождены от палестинских владельцев и находились рядом с линиями конфронтации. Однако «Ликуд» не был причастен к «мизрахизации» иммигрантов — то есть к их обозначению как мизрахимов; в конце концов, именно сионистские левые были ответственны за их приток, за их «модернизацию», вестернизацию. «Ликуд» предлагал им возможность «бежать от мизрахизма» и стать израильтянами, ненавидя арабов. В этой структуре сионистские левые представляли собой «государство», болезненный раскол между Востоком и Западом. Ликуд в этой структуре — это «народ Израиля» или «новое государство», которое он однажды создаст, после того как избавится от арабов, или «элиты», или левых, или от всех них. Это мессианский посыл, который Ликуд продал своим несчастным избирателям вместе с разрушением государства всеобщего благосостояния. Тот, кто не понимает провала попытки сионистских левых (например, «Мир сейчас») прорыть политический ров между поселенцами и мизрахимами, не понимает, в какой степени колонизация оккупированных территорий (то есть эскалация конфликта) ускорила формирование нового «народа Израиля», в котором мизрахизм служит своего рода крайним патриотизмом. По мере того как конфликт с палестинцами обостряется до точки невозврата, арабский Восток смещается всё дальше на восток, и евреи, все до единого, в конце концов оказываются на Западе. Именно это и происходит в романе Йехошуа. *Освобожденная невеста* — песнь, воспевающая разделительную стену.

После того, как он написал *Молху*, на мгновение признавшись в своей слабости, Йехошуа приложил все усилия, чтобы перенести границу внутри неашкеназского израильского сообщества, своего Мольхо, в другие места, чтобы евреи-мизрахи в его воображаемом мире были «западными». *Мистер*.

Mani was another such biological attempt (according to which the Jews were always a “mix” of Mizrahim and Ashkenazim, but the final product is Western). *Voyage to the End of the Millennium* is a “cultural” attempt, according to which the Jews already disengaged from the East a thousand years ago when they accepted the modern European prohibition on polygamy, unlike the Muslims. And thus, against the background of Paris in the early Middle Ages, a false and completely ahistorical portrayal was built of an alliance between monogamous Parisian Christians and Jews from Morocco versus the polygamous Muslims—that is, the Arabs.

Yehoshua needs the separation wall because only “separation”—that is, a clear demarcation of “outside” and “inside”—gives him a sense that a “uniform identity” is indeed being created. Anyone who takes the trouble to study *The Liberated Bride* will find the Middle East expert Rivlin scribbling a hackneyed thesis on the civil war in Algeria, which supposedly erupted due to “a medley of tongues.” (To strengthen his argument, Yehoshua revealed that he took this imagined academic thesis from a real article by an Algerian journalist, who wrote about “linguistic unity.”) This novel enabled Yehoshua to finally come out of the closet. Here he moved the border to its “final” place: The East is the Palestinian and the Jew is part of the West. “I don’t even want to know their names,” Yehoshua said in the July 2006 interview. As in the most terrible Jewish curse: May their names be obliterated.

Мани Это была еще одна подобная биологическая попытка (согласно которой евреи всегда были «смесью» мизрахимов и ашкенази, но конечный продукт — западный). *Путешествие к концу тысячелетия* Это «культурная» попытка, согласно которой евреи отделились от Востока еще тысячу лет назад, приняв современный европейский запрет на многоженство, в отличие от мусульман. Таким образом, на фоне Парижа раннего Средневековья был создан ложный и совершенно неисторический образ союза между моногамными парижскими христианами и евреями из Марокко и полигамными мусульманами, то есть арабами.

Йехошуа нуждается в разделительной стене, потому что только «разделение» — то есть четкое разграничение «внешнего» и «внутреннего» — дает ему ощущение, что действительно создается «единая идентичность». Любой, кто удосужится изучить это.

Освобожденная невеста В романе эксперт по Ближнему Востоку Ривлин пишет избитую теорию о гражданской войне в Алжире, которая якобы вспыхнула из-за «смешения языков». (Чтобы подкрепить свой аргумент, Йехошуа рассказал, что взял эту вымышленную научную теорию из реальной статьи алжирского журналиста, писавшего о «языковом единстве».) Этот роман позволил Йехошуа наконец-то совершить каминг-аут. Здесь он переместил границу на ее «окончательное» место: Восток — это палестинцы, а евреи — часть Запада. «Я даже не хочу знать их имена», — сказал Йехошуа в интервью в июле 2006 года. Как в самом ужасном еврейском проклятии: да будут стерты их имена.

V

In Lieu of a Conclusion: A Banished Thought from the East about a Polish Saltfish

In Hanoch Levin's play *Those Who Walk in the Darkness*, the protagonists' thoughts converse with each other. One of them is Herring Thought and the other is Ass Thought. Both speak about the material lives of the Ass and of the Herring (an apparent allusion to the food of poor East European Jews in Israel). Only then the Narrator declares:

THE NARRATOR: In the streets of our town lately wanders another thought, abstract, very complex, the latest word in post-modern theory, a disciple of the aged French professor Lazhan.

She is beautiful, daring, delicate, heavenly; in Paris, young female students, beneath their straight, lush hair, think of her during the autumn nights ...

[Ass Thought and Herring Thought approach her]

ASS THOUGHT: I desire so to cling to you, sometimes the throat chokes, sometimes you want to rise above simplicity and crudeness, to forget the flesh, to penetrate higher spheres.

В

Вместо заключения: Изгнанный Мысль с востока о польской соленой рыбе.

В пьесе Ханоха Левина *Те, кто ходят во тьме* Мысли главных героев перекликаются друг с другом. Одна из них — Мысль о Серебрке, а другая — Мысль об Осле. Обе говорят о материальной жизни Оsla и Серебрки (очевидная отсылка к пище бедных восточноевропейских евреев в Израиле). Только потом Рассказчик заявляет:

РАССКАЗЧИК: В последнее время по улицам нашего города бродит...

Другая мысль, абстрактная, очень сложная, новейшее слово в постмодернистской теории, последователь престарелого французского профессора Лажана.

Она прекрасна, смела, нежна, божественна; в Париже молодые студентки, скрывая под своими прямыми, пышными волосами мысли о ней осенними ночами...

[К ней подходят Мысль Задницы и Мысль Селёдки]

Мысль о заднице: Мне так хочется прижаться к тебе, иногда даже горлом.

Иногда, задыхаясь, хочется подняться над простотой и грубостью, забыть о плотских желаниях, проникнуть в высшие сферы.

Sometimes you aspire, but lack the strength to acquire;
my wonderful, spiritual, airy, slender one! ...

HERRING THOUGHT: A herring, what is there to say, is merely a herring, and yet, I allow myself to ... I'm not saying, after all I come from the lower classes ... and yet ... one reeks of fish but the heart seeks the horizon ... I just thought what a wonderful match we could have been, me and you, saltfish and spirit, post-modernism and kipper, you and I! ...

LAZHAN THOUGHT: Who are you? I'm from the Sorbonne!

ASS THOUGHT: I'm from the underwear drawer.

HERRING THOUGHT: I'm from the barrel.¹

At first, I intended to conclude this book with an essay on the playwright and author Hanoach Levin. I am told that readers outside Israel are completely unfamiliar with Hanoach Levin. So why do I give up this original intention? Precisely because I have read Hanoach Levin attentively and have understood his lesson that our fantasy about the West is a hopeless fantasy. Indeed, we will never be there, will not truly exist there—that is, with you, really—unless we don a Western mask, adopt your discourse, your standards. This is more or less what the Hebrew literature that is familiar in the West does. I also indirectly spoke about this in previous chapters.

The matter is ostensibly simple. The Israeli fantasy of the West presumes a norm: “The standards for universalism, beauty, the good reside among you in the West—in Paris, in London, in Los Angeles. We would like to live there, but only by living here can we fantasize about the life there.” This, of course, is wonderful material for comedy. However, this comedy says something different to the Western reader or audience: The Jew remains “different”—even the Israeli, Ashkenazi or Sephardi, right-wing or left-wing—does not really belong to the West. But your standards too, dear Western reader, the standards based on the assumption that the good and the beautiful are Western, are also reexamined in Hanoach Levin's comedies. This is what I had planned to discuss in my final chapter, based on a serious analysis of Levin's comedy.

So let us satisfy ourselves with a simple summary of what is relevant to this book, perhaps to the next book, or perhaps to what I

Иногда ты стремишься, но тебе не хватает сил, чтобы этого достичь;
моя чудесная, одухотворенная, воздушная, стройная!...

Мысль Херринга: Что тут еще сказать, сельдь — это всего лишь...
сельдь, и все же я позволяю себе... Я не говорю, в конце концов, я
же из низших слоев общества... и все же... от тебя пахнет рыбой,
но сердце стремится к горизонту... Я просто подумал, какой
замечательной парой мы могли бы быть, я и ты, соленая рыба и
дух, постмодернизм и копченая сельдь, ты и я!...

Мысль Лажана: Кто вы? Я из Сорбонны!

Мысль о заднице: Я из ящика для нижнего белья.

Мысль Херринга: Я из бочки.¹

Изначально я планировал завершить эту книгу эссе о драматурге и писателе Ханохе Левине. Мне сказали, что читатели за пределами Израиля совершенно не знакомы с Ханохом Левином. Так почему же я отказался от этого первоначального замысла? Именно потому, что я внимательно читал Ханоха Левина и понял его урок о том, что наша фантазия о Западе — это безнадежная фантазия. Действительно, мы никогда не окажемся там, не будем по-настоящему существовать там — то есть, с вами, по-настоящему — если не наденем западную маску, не примем ваш дискурс, ваши стандарты. Примерно так поступает и еврейская литература, известная на Западе. Я также косвенно говорил об этом в предыдущих главах.

На первый взгляд, дело простое. Израильская фантазия о Западе предполагает некую норму: «Стандарты универсализма, красоты, добра существуют среди вас на Западе — в Париже, в Лондоне, в Лос-Анджелесе. Мы хотели бы жить там, но только живя здесь, мы можем фантазировать о жизни там». Это, конечно, прекрасный материал для комедии. Однако эта комедия говорит западному читателю или аудитории нечто иное: еврей остается «другим» — даже израильтянин, ашкенази или сефард, правый или левый — на самом деле не принадлежит Западу. Но и ваши стандарты, дорогой западный читатель, стандарты, основанные на предположении, что добро и красота — это западные ценности, также переосмысливаются в комедиях Ханоха Левина. Именно это я и планировал обсудить в своей заключительной главе, основанной на серьезном анализе комедии Левина.

Итак, давайте ограничимся кратким изложением того, что имеет отношение к этой книге, возможно, к следующей книге, или, возможно, к тому, что я...

can write only for a Hebrew readership. And it will be easily understood by most readers of Hebrew literature simply because the problematic “Western fantasy” in Israeli life, in Jewish life, is so fragile and collapses so easily. This is the topic on which Hanoach Levin became so effective and also so infuriating in Israel, while this perhaps also denied him any chance of success in the West. The West asks our writers to represent a “collective.” But real writers are not ambassadors.

With Levin, the Western fantasy does not fit the Western fantasy of the dominant ideology in Israel (let’s call it Israeli Zionism). This ideology assumes that for us, the Jews, complete normality is only in Israel, far from the West. But the normality also assumes that the “normal,” the standard for normality, can only be found in the West. Within this context, the new Jew of the West appears, a type of Paul Newman from *Exodus*.

There is a politics of translation—exemplified by the fact that most of those who read literature translated from Hebrew have never heard of our most important playwright, who is certainly greater than the writers who are translated with such fanfare in the capitals of the West.

This is because the politics of translation from Hebrew to French or to English or to German is not random and also does not operate autonomously. No order operates on its own, as if there were no agents, as if there were no embassy, as if there were no Institute for the Translation of Hebrew Literature, as if there were no cultural attachés. Moreover, and here we return to what we discussed in earlier chapters, the Western demand for foreign literature is also not a matter of a “universal cultural necessity” or a “search for quality literature,” but is rather inscribed into a market economy and a particular type of cultural consumption. This question should also be asked in other ways: How is it that Israeli writers have succeeded in garnering good sales figures abroad? Were they proclaimed “universal authors” or only “Israeli authors”? What did they give up in their writing? What did they cover up? To what extent did they respond to the Western demand for the new Jew? It bears repeating: It is impossible to review the dozens of articles in the French press about Amos Oz’s *A Tale of Love and Darkness*, for example, without

Он может писать только для ивритской аудитории. И это будет легко понятно большинству читателей ивритской литературы просто потому, что проблематичная «западная фантазия» в израильской жизни, в еврейской жизни, настолько хрупка и так легко рушится. Именно эта тема сделала Хануха Левина столь эффективным и одновременно столь раздражающим в Израиле, что, возможно, также лишило его шансов на успех на Западе. Запад требует от наших писателей представлять «коллектив». Но настоящие писатели — не послы.

В работах Левина западная фантазия не соответствует западной фантазии господствующей в Израиле идеологии (назовем ее израильским сионизмом). Эта идеология предполагает, что для нас, евреев, полная нормальность существует только в Израиле, вдали от Запада. Но эта нормальность также предполагает, что «норма», стандарт нормальности, может быть найдена только на Западе. В этом контексте появляется новый еврей Запада, своего рода Пол Ньюман из *Исход*.

Существует определенная политика перевода, примером которой служит тот факт, что большинство тех, кто читает переведенную с иврита литературу, никогда не слышали о нашем самом выдающемся драматурге, который, безусловно, более велик, чем писатели, чьи произведения с таким размахом переводятся в столицах Запада.

Это объясняется тем, что политика перевода с иврита на французский, английский или немецкий языки не случайна и не функционирует автономно. Ни один порядок не существует сам по себе, как будто нет агентов, как будто нет посольства, как будто нет Института перевода ивритской литературы, как будто нет культурных атташе. Более того, и здесь мы возвращаемся к тому, что обсуждали в предыдущих главах, западный спрос на зарубежную литературу также не является вопросом «универсальной культурной необходимости» или «поиска качественной литературы», а скорее вписан в рыночную экономику и особый тип культурного потребления. Этот вопрос следует задать и с другой стороны: как получилось, что израильским писателям удалось добиться хороших показателей продаж за рубежом? Были ли они провозглашены «универсальными авторами» или только «израильскими авторами»? От чего они отказались в своем творчестве? Что они скрыли? В какой степени они ответили на западный спрос на нового еврея? Стоит повторить: невозможно просмотреть десятки статей во французской прессе об Амосе Озе. *История любви и тьмы* например, без

noting how all of them, without a single exception, duplicate precisely the same thing. Rather than turning on a discussion of the book, the articles focus on the character of the author as the embodiment of Israeli Jewish history. I am not speaking about the power of major publishers to sell books like bras or a new cellphone, but rather about the need this campaign seeks to satisfy, a need I have already discussed as the Return of the Colonial, or the Holocaust as a Western “hit,” or “the new Jew.”

No culture exists “for itself,” and a foreign culture certainly does not exist without the iconography that mediates between the metropolis and itself. This is a ponderous matter and should be addressed separately. Levin, of course, never gave up the desire to be published abroad and, on the other hand, he never denied the difference between “here” and “there.” On the contrary.

Here, what better conclusion could there be for this book than another extract from the play I cited earlier?

LAZHAN THOUGHT: I hang around Luxembourg and Saint Germain, sit in Café de Flore and Brasserie Lipp, sleep at the Hôtel Passy, will die in Neuilly, and will be buried in Père Lachaise. And you?

ASS THOUGHT: We live in the gutter ...

HERRING THOUGHT: And will be buried in the sewer ...

ASS THOUGHT: But dreaming of Paris.

Later, Herring Thought delivers its summary of life “here” and “there”:

HERRING THOUGHT: And the herring is forgotten. I will never get to penetrate French culture, I shall never be welcomed in the household, I will only peek around the door with yearning eyes turn around and return to my homeland, to be what I am: a banished thought from the East about a Polish saltfish.

Отмечается, что все они, без единого исключения, дублируют в точности одно и то же. Вместо обсуждения книги, статьи сосредотачиваются на характере автора как воплощении израильской еврейской истории. Я говорю не о власти крупных издательств продавать книги как бюстгальтеры или новые мобильные телефоны, а скорее о потребности, которую стремится удовлетворить эта кампания, потребности, которую я уже обсуждал как «Возвращение колониализма», или Холокост как западный «хит», или «новый еврей».

Ни одна культура не существует «сама по себе», и, безусловно, иностранная культура не может существовать без иконографии, которая выступает посредником между метрополией и ею самой. Это сложный вопрос, который следует рассмотреть отдельно. Левин, конечно, никогда не отказывался от желания публиковаться за границей и, с другой стороны, никогда не отрицал разницу между «здесь» и «там». Напротив.

Что может быть лучшим завершением этой книги, чем еще один отрывок из пьесы, которую я цитировал ранее?

Мысль Лажана: Я часто бываю в Люксембурге и Сент-Луисе.

Жермен, посидит в кафе «Де Флор» и брассерии «Липп», переночует в отеле «Пасси», умрет в Нёйи и будет похоронен на кладбище Пер-Лашез. А вы?

Мысль о заднице: Мы живём в канаве...

Мысль Херринга: И будет похоронен в канализации...

Мысль о заднице: Но я мечтаю о Париже.

Позже Herring Thought представляет свой обзор жизни «здесь» и «там»:

Мысль Херринга: А про сельдь забыли. Я никогда этого не пойму.

Чтобы проникнуть во французскую культуру, меня никогда не примут в доме, я буду лишь заглядывать за дверь с тоскливыми глазами, оглядываться и возвращаться на родину, чтобы быть тем, кто я есть: изгнанной с Востока мыслью о польской соленой рыбе.

NOTES

Foreword by José Saramago

1 Published first in France, in 2007, as *Le nouveau philosémitisme européen et le “camp de la paix” en Israël*.

Preface to the English-Language Edition

1 Published in Hebrew in my *Shieim Be-Emek Ha-Barzel* [Poems in the Valley of Iron], trans. Aloma Halter, Tel Aviv, 1989.

2 One can interpret Ari Folman’s 2008 film on the 1980s Lebanon war *Waltz with Bashir* in this context. If it is an exception, it can be so only because it uses a childlike genre, the cartoon. However, its protagonists, who look like cartoon characters, talk like cartoon characters and feel like cartoon characters, appeal to the same imaginary.

3 Published in Hanoah Levin, *What Does the Bird Care: Songs, Sketches and Satire*, Tel Aviv, 1987.

4 Israeli Central Bureau of Statistics, “Infant mortality rates, by selected causes, religion and age,” *Statistical Abstract of Israel 2007*, Table 3.30, March 4, 2008.

www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=580 \t “blank”

www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=580_.

Introduction

1 Popular rites and veneration of “saintly rabbis” among Moroccan Jews were much closer to popular Islamic traditions in the Maghreb than to Ashkenazi Jewish traditions.

ПРИМЕЧАНИЯ

Предисловие Хосе Сарамаго

¹ Впервые опубликовано во Франции в 2007 году под названием *Новый европейский философизм и «лагерь мира» в Израиле*.

Предисловие к англоязычному изданию

¹ Опубликовано на иврите в моем *Шиим Бе-Эмек Ха-Барзель* [[Стихи из Железной долины], пер. Алома Хальтер, Тель-Авив, 1989.

² Фильм Ари Фольмана 2008 года можно интерпретировать как посвященную ливанской войне 1980-х годов. *Вальс с Баширом* В этом контексте. Если это и исключение, то только потому, что в нем используется детский жанр — мультфильм. Однако его главные герои, которые выглядят, говорят и чувствуют себя как мультяшные персонажи, апеллируют к тому же воображению.

³ Опубликовано в журнале Hanoch Levin. *Какая разница птице: песни, зарисовки и сатира*. Тель-Авив, 1987.

⁴ Центральное статистическое бюро Израиля, «Показатели младенческой смертности по отдельным причинам, религии и возрасту», *Статистический сборник Израиля 2007 года* Таблица 3.30, 4 марта 2008 г. www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=580 \t "пустой" www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=580.

Введение

¹ Популярные обряды и почитание «святых раввинов» среди марокканских евреев были гораздо ближе к народным исламским традициям Магриба, чем к традициям ашкеназского иудаизма.

- 2 Perhaps the hysteria over the “anti-Israeli media,” dubbed by politicians as the “new anti-Semitism,” in a way reflects the sense of insecurity with regard to still being “outsiders,” but that is not my problem here.
- 3 A famous slogan of the Jewish enlightenment movement, clearly equating being a “human being” with standard Christian behavior and appearance.
- 4 Theodor Herzl, *The Jewish State*, trans. Harry Zohn, New York, 1970, p. 52.

1. *The Shoah Belongs to Us (Us, the Non-Muslims)*

- 1 France’s Jews: No longer stepsons *Haaretz*, February 26, 2006.
- 2 “Deportation yes, prison, no,” *Haaretz*, February 26, 2006.
- 3 Raul Hilberg, *Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe, 1933–45*, New York, 1992, p. 249.
- 4 During the Eichmann trial, Ben-Gurion ordered the prosecution not to mention Globke’s role in the Jewish genocide, in order to accommodate Adenauer.
- 5 Finkelkraut, *Au nom de l’Autre*, Paris, 2003, p. 15. Author’s translation.

2. *The Right of Return (of the Colonial): On the Role of the “Peace Camp” and its French Sponsors*

- 1 Claude Lanzmann, “Israël, Palestine: la séparation illusoire,” *Le Monde*, February 7, 2001. Author’s translation.
- 2 David Grossman, *Death as a Way of Life*, New York, 2003, p. 78.
- 3 “Why Arafat must take the blame,” *Guardian*, October 13, 2000.
- 4 Ehud Barak repeated the accusation even after he for a time quit public life. “Arafat sees himself as a reborn Saladin—the Kurdish Muslim general who defeated the Crusaders in the twelfth century—and Israel as just another, ephemeral Crusader state.” (“Camp David and After: An Exchange. An Interview with Ehud Barak,” *New York Review of Books*, vol. 49, no. 10, June 13, 2002.)
- 5 “Left in Distress,” *Haaretz* magazine, October 20, 2000.
- 6 Ibid.
- 7 “The specters of Amos Oz,” *Haaretz*, August 3, 2000.
- 8 So integral has this term become in internal Israeli debates that the online encyclopedia Wikipedia has dedicated an entry to this phenomenon: “Hasbara (or hasbarah) is a Hebrew noun, literally meaning ‘explanation,’” etc.
- 9 Hussein Agha and Robert Malley “Camp David: The Tragedy of Errors,” *New York Review of Books*, vol. 48, no. 13, August 9, 2001.
- 10 *Haaretz*, June 11, 2004.
- 11 Ibid.
- 12 Ibid.
- 13 “Even if Camp David fails, this conflict is on its last legs,” *Guardian*, July 25, 2000.

2 Возможно, истерия вокруг «антиизраильских СМИ», которые политики называют «новым антисемитизмом», в некотором смысле отражает чувство незащищенности по поводу того, что они по-прежнему «чужаки», но это не моя проблема.

3 Известный лозунг еврейского просвещенческого движения, явно приравнивающий понятие «человек» к стандартному христианскому поведению и внешнему виду. 4

Теодор Герцль, *Еврейское государство* Перевод Гарри Зона, Нью-Йорк, 1970, с. 52.

1. Холокост принадлежит нам (нам, немусульманам).

1 Французские евреи: больше не пасынки *Хаарец* 26 февраля 2006 г.

2 «Депортация — да, тюрьма — нет». *Хаарец* 26 февраля 2006 г.

3 Рауль Хильберг, *Преступники, жертвы, сторонние наблюдатели: еврейская катастрофа. 1933–45* Нью-Йорк, 1992, с. 249.

4 Во время процесса над Эйхманом Бен-Гурион приказал обвинению не упоминать роль Глобке в геноциде евреев, чтобы угодить Аденауэру.

5 Финкелькраут, *Au nom de l'Autre* Париж, 2003, с. 15. Перевод автора.

2. Право на возвращение (колониального периода): о Роль «Лагеря мира» и его французских спонсоров.

1 Клод Ланцманн, «Израиль и Палестина: иллюзорное разделение». *Le Monde*, 7 февраля 2001 г. Перевод автора. 2

Дэвид Гроссман, *Смерть как образ жизни* Нью-Йорк, 2003, с. 78.

3 «Почему Арафат должен взять на себя вину», *Страж* 13 октября 2000 г.

4 Эхуд Барак повторял это обвинение даже после того, как на некоторое время ушел из общественной жизни. «Арафат видит себя возрожденным Саладином — курдским мусульманским генералом, разгромившим крестоносцев в XII веке, — а Израиль — всего лишь еще одним, эфемерным государством крестоносцев». («Кэмп-Дэвид и после: обмен мнениями. Интервью с Эхудом Барак» *Нью-Йоркское книжное обозрение* (том 49, № 10, 13 июня 2002 г.) 5

«Оставлен в бедственном положении» *Хаарец* Журнал, 20 октября 2000 г. Там

6 же.

7 «Призраки Амоса Оза» *Хаарец* 3 августа 2000 г.

8 Этот термин стал настолько неотъемлемой частью внутренних израильских дискуссий, что в интернете...

Энциклопедия Википедия посвятила этому явлению отдельную статью: «Хасбара (или хасбара) — это еврейское существительное, буквально означающее «объяснение»». и т. д.

9 Хуссейн Ага и Роберт Малли «Кэмп-Дэвид: Трагедия ошибок», *Нью-Йоркское книжное обозрение*, том 48, № 13, 9 августа 2001 г. 10

Хаарец 11 июня 2004 г. Там

11 же.

12 Там же.

13 «Даже если Кэмп-Дэвид потерпит неудачу, этот конфликт находится на грани завершения». *Страж* 25 июля 2000.

- 14 "Failure is a guarantee of success," *Haaretz*, January 22, 2007.
- 15 "Failure is a guarantee of success," January 22, 2007.
- 16 Grossman, *Death as a Way of Life*, pp. 63–4.
- 17 "Tous les périls, plus la trahison perverse," *Le Monde*, November 9, 2003. Author's translation.
- 18 See "What sort of Frenchmen are they?" *Haaretz*, interview with Alain Finkelkraut, November 17, 2005, and Finkelkraut, "In the Name of the Other," *Azure*, Fall 2004.
- 19 "They [Arafat and the Palestinians] are products of a culture in which to tell a lie ... creates no dissonance. They don't suffer from the problem of telling lies that exists in Judeo-Christian culture. Truth is seen as an irrelevant category. There is only that which serves your purpose and that which doesn't. They see themselves as emissaries of a national movement for whom everything is permissible. There is no such thing as 'the truth.'" ("Camp David and After: An Exchange," *New York Review of Books*).
- 20 *Le Monde*, May 7, 2002. Author's translation.
- 21 Amos Oz, "The Specters of Saladin," *New York Times*, July 28, 2000.
- 22 At the same time, A. B. Yehoshua was described in very similar terms on Dutch TV. See "Count the Dead," *Ha'ir*, October 12, 2000.
- 23 Oz, "The Specters of Saladin."
- 24 "Droit au retour Palestinien = annihilation d'Israël," *Le Monde*, November 1, 2001. Author's translation.
- 25 More famously, and even earlier, Hussein Agha and Robert Malley remarked: "While insisting on the Palestinian refugees' right to return to homes lost in 1948, they were prepared to tie this right to a mechanism of implementation providing alternative choices for the refugees while limiting the numbers returning to Israel proper" (Agha and Malley, "Camp David: The Tragedy of Errors").
- 26 "Jérusalem: il est urgent d'attendre," *Le Monde*, January 18, 2001. Author's translation.
- 27 Lanzmann, "Israël, Palestine: la séparation illusoire." Author's translation.
- 28 *Le Monde*, December 5, 2001. Author's translation.
- 29 "Israël-Palestine: pour une paix sèche," *Le Monde*, June 4, 2002. Author's translation.

3. It Takes a Lot of Darkness and Self-Love to merge "Us" with "You":

Amos Oz's A Tale of Love and Darkness

- 1 "Der Moment der Wahrheit," *Die Zeit*, interview with Amos Oz, October 28, 2004. Author's translation.
- 2 *Le Monde des Livres*, February 20, 2004. Author's translation.

- 14 «Неудача — залог успеха». *Хаарец* 22 января 2007 г.
- 15 «Неудача — залог успеха», 22 января 2007 г. Гроссман.
- 16 *Смерть как образ жизни*, стр. 63–4.
- 17 «Все опасности плюс извращенная трахизон» *Le Monde* 9 ноября 2003 г. Перевод автора.
- 18 См. «Что это за французы?» *Хаарец*, интервью с Аленом Финкелькраутом, 17 ноября 2005 г., и работа Финкелькраута «Во имя Другого». *Azure* Осень 2004 г.
- 19 «Они [Арафат и палестинцы] — продукты культуры, в которой ложь... не вызывает диссонанса. Они не страдают от проблемы лжи, которая существует в иудео-христианской культуре. Истина рассматривается как несущественная категория. Есть только то, что служит вашей цели, и то, что не служит. Они видят себя посланниками национального движения, для которого всё дозволено. Нет такого понятия, как «истина».» («Кэмп-Дэвид и после: обмен мнениями») *Нью-Йоркское книжное обозрение*). 20
- Le Monde* 7 мая 2002 г. Перевод автора.
- 21 Амос Оз, «Призраки Саладина», *Нью-Йорк Таймс* 28 июля 2000 г. В то же время, А.Б. Йехошуа был описан в очень похожих терминах.
- Голландское телевидение. Смотрите «Подсчитайте мертвых». *Волосы* 12 октября 2000 г. 23
- «Оз», «Призраки Саладина».
- 24 «Право на возвращение Палестины = уничтожение Израиля». *Le Monde* 1 ноября 2001. Авторский перевод.
- 25 Более известное и даже более раннее замечание Хусейна Аги и Роберта Малли: «Настаивая на праве палестинских беженцев на возвращение в дома, утраченные в 1948 году, они были готовы увязать это право с механизмом реализации, предоставляющим беженцам альтернативные варианты, одновременно ограничивая число возвращающихся в собственно Израиль» (Ага и Малли, «Кэмп-Дэвид: Трагедия ошибок»).
- 26 «Иерусалим: это срочное дело», *Le Monde* 18 января 2001 г. Перевод автора.
- 27 Ланцманн, «Израиль, Палестина: иллюзорное разделение». Авторский перевод. *Le Monde* 5 декабря 2001 г. Перевод автора.
- 29 «Израиль-Палестина: pour une paix sèche», *Le Monde* 4 июня 2002 г. Авторское письмо перевод.

**3. Чтобы слиться с самим собой, требуется много тьмы и любви к себе.
"Ты":**

Амос Оз История любви и тьмы

- 1 «Дер Момент дер Вархейт», *Время* Интервью с Амосом Озом, 28 октября 2004 г. Перевод автора.
- 2 *Le Monde des Livres* 20 февраля 2004 г. Перевод автора.

3 Amos Oz, *A Tale of Love and Darkness*, trans. Nicholas de Lange, New York, 2005, p. 342.

4 Ibid., p. 367.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 On the manipulative use of the Mufti motif please see the detailed account in Idith Zertal's *Israel's Holocaust and the Politics of Nationhood*, New York, 2005.

8 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 368.

9 *Le Monde*, October 16, 2004. Author's translation.

10 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 161.

11 This aunt has already represented the writer as a righteous old man in his novel *The Same Sea*: "He is almost sixty, this narrator ... Since he was a child he has heard, impatiently, time and again from Auntie Sonya, a woman who suffers, that we should be happy with what we have. We should always count our blessings. Now he finds himself at last close to this way of thinking." Amos Oz, *The Same Sea*, trans. Nicholas de Lange, London, 2001, pp. 41–2.

12 How blatantly Oz caters to "foreign ears" in the analogy between "their Jesus" and "our Shulhan Arukh." How little he know of the first-century revolt against the Pharisees, or about the detailed encodings of Rabbi Joseph Karo in the sixteenth century.

13 So entranced were the petite bourgeoisie by this description that the critic of the *Paris Match*, a representative of this class, described this "intellectual self-portrait" in terms equivalent to an orgasm in prose. See Christine Gomariz, "Amos Oz—Diasporama," *Paris Match*, May 13, 2004. Do not dismiss this because it is *Paris Match*. None of the more "intellectual" publications dared question Oz's description of the self obsessed with "books" as a representation of the nation.

14 Amos Oz, *Sipur al Ahava vaHoshekh*, Jerusalem, 2000, p. 36. This section is absent from the English version, for at least he (or his translators) were a little embarrassed in Europe by such forms of self-adoration. Author's translation.

15 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 72.

16 Ibid., p. 423.

17 Ibid.

18 Ibid., p. 55.

19 Ibid., p. 500.

20 Ibid.

21 An example of the latter is Oz's comparison between his own professorship and the fact that his father never achieved the aspired position. "Sixteen years after my father's death I myself became an outside professor of literature at Ben-Gurion University; a year or two later I was made a full professor, and eventually I was appointed to the Agnon Chair. In time I received generous invitations from both Jerusalem and Tel-Aviv Universities to be a full professor of literature, I, who am neither an expert nor a scholar nor a mover of mountains, who have never had any talent for research and whose mind always turns cloudy at the sight of a

3 Амос Оз, *История любви и тьмы*, пер. Николас де Ланге, Нью-Йорк, 2005, с. 342.

4 Там же, с. 367.

5 Там же.

6 Там же.

7 Подробное описание манипулятивного использования мотива муфтия приведено в [ссылка на источник].

Идит Зерталь *Холокост в Израиле и политика государственности* Нью-Йорк, 2005. 8

Оз, *История любви и тьмы*. 368.

9 *Le Monde* 16 октября 2004 г. Перевод автора.

10 Оз, *История любви и тьмы*, стр. 161.

11 Эта тётя уже изобразила писателя в его произведениях как праведного старика.

роман *То же море* «Рассказчику почти шестьдесят... С детства он с нетерпением слушал от тети Сони, женщины, которая много страдает, что нужно радоваться тому, что имеешь. Всегда нужно ценить то, что имеешь. И вот, наконец, он близок к такому образу мышления». Амос Оз. *То же море*, пер. Николас де Ланге, Лондон, 2001, стр. 41–2.

12 Как же откровенно Оз угождает «иностранным слушателям», проводя аналогию между «их Иисусом» и «нашим Шулханом». Арух Как мало он знает о восстании против фарисеев в I веке или о подробных записях раввина Йозефа Каро, сделанных в XVI веке.

13 Мелкая буржуазия была настолько очарована этим описанием, что критик... *Париж Матч* Представитель этого класса описал этот «интеллектуальный автопортрет» в выражениях, эквивалентных оргазму в прозе. См. Кристин Гомариз, «Амос Оз — Диаспора». *Париж Матч* 13 мая 2004 г. Не стоит отмахиваться от этого только потому, что это так. *Париж Матч* Ни одно из наиболее «интеллектуальных» изданий не осмелилось подвергнуть сомнению описание Озом человека, одержимого «книгами», как олицетворения нации. 14 Амос Оз, *Sipur al Ahava vaHoshekh* Иерусалим, 2000, с. 36. Этот раздел отсутствует в английской версии, поскольку, по крайней мере, он (или его переводчики) испытывали некоторое смущение в Европе по поводу подобных форм самолюбования. Перевод автора.

15 Оз, *История любви и тьмы*, с. 72. Там

16 же, с. 423.

17 Там же.

18 Там же, с. 55.

19 Там же, с. 500.

20 Там же.

21 Примером последнего является сравнение Озом своей собственной профессорской деятельности. и тот факт, что его отец так и не достиг желаемой должности. «Через шестнадцать лет после смерти отца я сам стал приглашенным профессором литературы в университете Бен-Гуриона; через год или два меня назначили штатным профессором, а затем и на кафедру Агнона. Со временем я получил щедрые приглашения от Иерусалимского и Тель-Авивского университетов стать штатным профессором литературы. Я, не являющийся ни экспертом, ни ученым, ни человеком, способным свернуть горы, никогда не обладавший талантом к исследованиям и чей разум всегда затуманивается при виде чего-либо...»

footnote. My father's little finger was more professorial than a dozen 'parachuted in' professors like me." Ibid., p. 128.

22 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 23.

23 *Livres-Hebdo*, February 13, 2004. Author's translation.

24 Oz, *Sipur al Ahava vaHoshekh*, p. 37. Author's translation.

25 In an interview with Frédéric Joignot, Oz said: "You point your fingers at us, you demonize us. It's a disaster for us. During the worst period of French colonialism in North Africa, when horrible crimes were committed in the name of France, we all knew that literature, the tradition of freedom, the great intellectual debates all continued. No one in Israel, or elsewhere, said 'Let us boycott France.' But today, I find the media and intellectual treatment of Israel very harsh. We feel as if we are being rejected outright." (*Le Monde*, October 16, 2004). Such is exactly the role of the hero of any good melodrama, from Pixérécourt on: to defend the little helpless girl.

26 Oz, *Sipur al Ahava vaHoshekh*, p. 39, in a chapter that is missing from the English version. Author's translation.

27 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 27.

28 From the Hebrew original of *Tahat Shemei ha-Tkhelet ha-Aza* [*Under this Blazing Light*], 1971, p. 27. This article does not appear in the English version of the same title. Author's translation.

29 Amos Oz, *Israel, Palestine and Peace*, New York, 1989, pp. 54–5.

30 Amos Oz, *Tahat Shemei ha-Tkhelet ha-Aza*, pp. 27–8. Author's translation.

31 Amos Oz, *al Midronot Har ha-Ga'ash* [*The Slopes of the Volcano*], Jerusalem, 2006, pp. 67–8, Hebrew.

32 Ibid., p. 69

33 Ibid., p. 70.

34 Ibid., p. 71.

35 Ibid., p. 72.

36 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 414.

37 Ibid., p. 127. It is difficult not to be antagonized by Oz's vanity: his knowledge of German culture is nowhere near as deep as Said's. Where Oz simply relies on a few Hebrew translations in championing Goethe, Said read the original. Oz can only scoff at Said, who was an expert in German music, history, literature and literary history even among the German middle class and city politicians, who were themselves great "experts" on these matters. Oz offers nothing but disdain. After all, he is the Guest of Honor—Said is dead, and anyway he was Palestinian.

38 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, pp. 398–9.

39 "Der Moment der Wahrheit," author's translation.

40 Oz, *al Midronot Har ha-Ga'ash*, pp. 79–80.

41 Ibid., p. 23.

42 Ibid., p. 80.

43 Ibid., p. 80.

44 Oz, *A Tale of Love and Darkness*, p. 64.

Примечание. Мизинец моего отца был более профессорским, чем дюжина «присланных» профессоров вроде меня». Там же, с. 128.

22 Оз, *История любви и тьмы*, стр. 23. *Livres-Hebdo* 13

23 февраля 2004 г. Перевод автора. Оз, *Sipur al Ahava*

24 *vaHoshekh*, с. 37. Перевод автора.

25 В интервью Фредерику Жуаньо Оз сказал: «Вы указываете на нас пальцем, Вы демонизируете нас. Это катастрофа для нас. В самый тяжелый период французского колониализма в Северной Африке, когда во имя Франции совершались ужасные преступления, мы все знали, что литература, традиция свободы, великие интеллектуальные дебаты продолжались. Никто в Израиле или где-либо еще не говорил: «Давайте бойкотировать Францию». Но сегодня я нахожу отношение СМИ и интеллектуалов к Израилю очень жестким. Мы чувствуем себя так, будто нас отвергают целиком. *Le Monde* (16 октября 2004 г.). Именно такова роль героя любой хорошей мелодрамы, начиная с Пиксерекура: защищать маленькую беззащитную девочку.

26 Оз, *Sipur al Ahava vaHoshekh*, стр. 39, в главе, отсутствующей в английской версии. Перевод автора.

27 Оз, *История любви и тьмы*, стр. 27.

28 Исходный текст на иврите *Тахат Шемей ха-Тхелет ха-Аза* [В рамках этого *Пылающий свет*], 1971, с. 27. Данная статья отсутствует в английской версии с тем же названием. Перевод автора.

29 Амос Оз, *Израиль, Палестина и мир* Нью-Йорк, 1989, стр. 54–55. Амос Оз,

30 *Тахат Шемей ха-Тхелет ха-Аза*, стр. 27–28. Перевод автора. Амос Оз, *аль-*

31 *Мидронот Хар ха-Гааш* [Склоны вулкана], Иерусалим, 2006, стр. 67–68, на иврите.

32 Там же, с. 69

33 Там же, с. 70.

34 Там же, с. 71.

35 Там же, с. 72.

36 Оз, *История любви и тьмы*, стр. 414.

37 Там же, с. 127. Трудно не испытывать неприязни к тщеславию Оза: его знания. Знания Оза о немецкой культуре далеко не так глубоки, как у Саида. Если Оз, восхваляя Гёте, просто опирается на несколько переводов с иврита, то Саид читал оригинал. Оз может лишь насмехаться над Саидом, который был экспертом в немецкой музыке, истории, литературе и литературной истории даже среди немецкого среднего класса и городских политиков, которые сами были великими «экспертами» в этих вопросах. Оз выражает лишь презрение. В конце концов, он — почетный гость, Саид мертв, и к тому же он был палестинцем.

38 Оз, *История любви и тьмы*, стр. 398–9. «Der

39 *Moment der Wahrheit*», авторский перевод. Оз,

40 *аль-Мидронот Хар ха-Гааш*, стр. 79–80. Там же,

41 стр. 23.

42 Там же, с. 80.

43 Там же, с. 80.

44 Оз, *История любви и тьмы*, стр. 64.

45 Ibid., p. 537.

46 Ibid., p. 175.

47 Ibid., p. 531.

4. “I Don’t Even Want to Know Their Names”—On Hatred for the East:

A. B. Yehoshua and the Shame of Being Sephardi

1 Author’s translation; only published in Hebrew, *Haaretz*, July 21, 2006.

2 “A nation that knows no bounds,” *Haaretz*, interview with A. B. Yehoshua, March 18, 2004.

3 “The dead should be counted,” from an interview on Dutch TV, December 10, 2000, *Ha’it*.

4 *Time Out* (Tel Aviv), November 11, 2004.

5 *Kul al-arab*, December 28, 2001.

6 Yehoshua was embarrassed when this slip of the pen was noted in the reviews of *The Liberated Bride* (New York, 2003). In his next novel, *The Mission of the Human Resource Man* (published in English as *A Woman in Jerusalem*, New York, 2006), he did not give his protagonist a name, and thus got around the need to define his ethnic origin.

7 A. B. Yehoshua, “The Wall and the Mountain,” Tel Aviv, 1990, p. 223.

8 Ibid., p. 232.

9 “A nation that knows no bounds,” *Haaretz*.

10 Ibid.

11 Yehoshua, “The Wall and the Mountain,” p. 232.

12 “A nation that knows no bounds,” *Haaretz*.

13 Yehoshua says touching things in an interview about the creation of the Mizrahi, without realizing that he is speaking about the very creation of this category: “And my mother, who arrived at age 16 from Morocco, was completely foreign in Jerusalem. She did not live the Ashkenazi context or the Sephardi. Thus, she directed me and my sister toward the Israeli experience. She more or less told us from a very early age to venture outside, into the dynamic Israel. Not to live the life of the weak minority but rather to go to the majority. To the hegemonic.” (“A nation that knows no bounds,” *Haaretz*).

14 “A nation that knows no bounds,” *Haaretz*.

5. In Lieu of a Conclusion: A Banished Thought from the East about a Polish Saltfish

1 Extracts from Hanoch Levin’s *Those Who Walk in the Darkness* are from the unpublished English translation by Shir Freibach, *They Who Walk in the Dark: A Nocturnal Vision*.

45 Там же, с. 537.

46 Там же, с. 175.

47 Там же, с. 531.

4. «Я даже не хочу знать их имена» — о ненависти к

Восток:

АВ Йехошуа и позор быть сефардом

1 Перевод автора; опубликовано только на иврите. *Хаарец* 21 июля 2006

2 г. «Нация, не знающая границ». *Хаарец* Интервью с АВ Йехошуа.

18 марта 2004 г.

3 «Погибших следует подсчитать», — из интервью на голландском телевидении, 10 декабря 2000 года. *Хаит*.

4 *Перерыв* (Тель-Авив), 11 ноября 2004 г.

5 *Куль аль-араб* 28 декабря 2001 г.

6 Йехошуа был смущен, когда эта оговорка была замечена в отзывах.

из *Освобожденная невеста* (Нью-Йорк, 2003). В своем следующем романе, *Миссия специалиста по управлению персоналом* (опубликовано на английском языке как *Женщина в Иерусалиме* в своем романе (Нью-Йорк, 2006) он не дал своему главному герою имени, тем самым обойдясь без необходимости определять его этническое происхождение.

7 А. Б. Йехошуа, «Стена и гора», Тель-Авив, 1990, с. 223. Там же, с.

8 232.

9 «Нация, не знающая границ», *Хаарец* Там

10 же.

11 Йехошуа, «Стена и гора», с. 232. «Нация, не

12 знающая границ», *Хаарец*.

13 В интервью Йехошуа говорит трогательные вещи о создании

Мицрахи, сам того не осознавая, говорит о самом создании этой категории: «А моя мать, приехавшая в 16 лет из Марокко, была совершенно чужой в Иерусалиме. Она не жила в ашкеназском или сефардском контексте. Поэтому она направила меня и мою сестру к израильскому опыту. Она, в общем, с самого раннего возраста говорила нам, чтобы мы вышли за пределы своего круга, в динамичный Израиль. Не жили жизнью слабого меньшинства, а шли к большинству. К гегемонии». («Нация, не знающая границ», *Хаарец*). 14 «Нация, не знающая границ», *Хаарец*.

5. Место заключения: Изгнанная с Востока мысль о польской соленой рыбе

1 Выдержки из книги Хануха Левина "Те, кто ходит во тьме" взяты из неопубликованного английского перевода.